



СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЁФ

Сказание
о Йосте Берлинге

Сельма Лагерлёф
Сказание о Йосте Берлинге

«РИПОЛ Классик»

1891

УДК 821.113.6
ББК 84(4Шве)6-44

Лагерлёф С.

Сказание о Йосте Берлинге / С. Лагерлёф — «РИПОЛ Классик»,
1891

ISBN 978-5-386-09639-7

Сельма Лагерлёф — крупнейшая писательница Швеции, первая женщина, удостоенная Нобелевской премии по литературе. Автор знаменитой на весь мир и любимой миллионами читателей книги «Удивительное путешествие Нильса с дикими гусями». «Сказание о Йосте Берлинге» — первый роман и самое масштабное произведение Лагерлёф. История жизни разжалованного за пьянство пастора, романтика и сердцееда. Книга, заложившая основы магического реализма. Одноименный фильм по мотивам этого романа положил начало актерской карьере блистательной Греты Гарбо.

УДК 821.113.6
ББК 84(4Шве)6-44

ISBN 978-5-386-09639-7

© Лагерлёф С., 1891
© РИПОЛ Классик, 1891

Содержание

Предисловие переводчика	6
Сказание о Йосте Берлинге	9
Пролог	10
I	10
II	15
Глава первая	23
Глава вторая	26
Глава третья	34
Глава четвертая	41
Глава пятая	49
Глава шестая	52
Глава седьмая	63
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Сельма Лагерлёф

Сказание о Йосте Берлинге

© Штерн С. В., перевод на русский язык, 2016

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик». 2016

Издательство выражает признательность Шведскому Совету по Искусству – Swedish Arts Council за финансовую поддержку в издании данного перевода

Предисловие переводчика

Это прямо удивительно, как Сельме Лагерлёф пришло в голову дебютировать подобным романом!

Множество трудов по этому поводу написано, а все равно непонятно.

На дворе конец XIX века, в литературе господствует суровый социальный, или, как его называли в России, критический реализм. Каждый новый роман – не столько произведение искусства, сколько повод для жарких общественных дебатов. Символисты еще только делают первые робкие попытки возродить романтическую традицию – правда, в иных, назовем их декадентскими, формах. И романтика в их сочинениях присутствует не сама по себе, а как некий идеал. И его недостижимость внушает сочинителям плохое и унылое настроение. Даже веселый Альфонс Доде, автор «Тартарена», с грустью написал: «Глаза нашего поколения не горят огнем. У нас нет пыла ни к любви, ни к отечеству. Мы все поражены скукой и истощением, побеждены до начала действия, у всех у нас души анархистов, которым недостает храбрости».

И вдруг ни с того ни с сего скромная учительница из провинциальной Ландскруны публикует «Сагу о Йосте Берлинге». И ведь не скажешь, что по наивности: Сельма Лагерлёф была очень начитанна и прекрасно осведомлена, что происходит в литературном мире. Мы знаем это из ее переписки.

И все же решилась. У нее, в отличие от Доде, храбрости хватило.

Ошеломленные критики встретили роман в штыки. Сельме Лагерлёф досталось по первое число. Как только ее не называли! Самое мягкое определение – деревенская сказочница. И только через два года, после того как датский критик Георг Брандес прочитал перевод и написал восторженную рецензию, роман заметили и начали хвалить взахлеб. Все, как положено, – нет пророка в своем отечестве.

Хотя критиков можно понять. Что это за роман? Так и вспоминается концовка гоголевского «Носа» – удивительно, как авторы могут брать подобные сюжеты! Даже жанр трудно определить. Любовный? Исторический пастиш с привкусом рыцарского романа в духе Вальтера Скотта? Приключенческий? Сентиментальный? Иронический? Или, как теперь называют этот жанр исконно русским словом, фэнтези? Как ни странно, присутствует и первое, и второе, и пятое, и десятое. Впрочем, если спросят, откуда берет начало так называемый магический реализм Маркеса или, скажем, Кензабуро Оэ, не нужно долго думать над ответом. Магический реализм вырос из магического романтизма Сельмы Лагерлёф.

Это, по-видимому, и есть самое точное определение ее стиля: *магический романтизм*. Недаром великий японец, приехав в Стокгольм для получения Нобелевской премии по литературе, первым делом попросил свозить его в усадьбу шведской писательницы.

Все радости и горести мира, все его искушения и соблазны уместились на берегах небольшого продолговатого озера. Сто лет маркесовского одиночества уместились в один год. Перед читателем в стремительном карнавале проносятся трубадуры и воины, горные ведьмы и лесные феи, погони и похищения, влюбленности и разрывы, грехи и искупления, природные катастрофы и древние легенды и поверья. Мало того, вряд ли кто из писателей так язычески одушевлял природу, как Сельма Лагерлёф. Озера у нее «знают, где им начинаться», волны сговариваются поднять восстание, потому что им надоело крутить колеса машин, горы и долины пререкаются из-за места на берегу... и написано это с такой убедительностью, что начинаешь сомневаться: а кто их знает, может, и вправду пререкаются.

Мастерство рассказа Сельмы Лагерлёф, возможно, не имеет равных в мировой литературе. Роман представляет собой серию эпизодов, так или иначе связанных с судьбой главного героя – Йосты Берлинга, разжалованного за пьянство пастора, красавца, романтика и серд-

пееда. Едва ли не каждая глава представляет собой самостоятельный рассказ, законченный сюжет, удивительным образом вплетающийся в канву повествования.

Вот, казалось бы, совершенным особняком стоящая легенда о Кевенхюллере, получившем в дар от лесной феи великий изобретательский талант (оцените изысканность фамилии!). Но этот дар – не дар, а мучение: ему не разрешено повторить свои открытия. Сотворить разрешено, а повторить – нет. Летательный аппарат, самоходный экипаж – все в единственном числе. Он не может передать их людям. Какое же отношение к Йосте Берлингу имеет Кевенхюллер? Вроде бы никакого. Но оказывается, имеет – измученный невозможностью принести людям счастье, Кевенхюллер в припадке сумасшествия поджигает Экебю, прибежище веселых и беспутных кавалеров во главе с Йостой Берлингом. Ставит последнюю точку в хаосе распада.

Роман написан от третьего лица, но иногда автор неожиданно вмешивается в ход событий, высказывает свои мысли, примеряет на себя судьбы своих героев. Вот, например, падает в обморок старушка, обнаружившая в мужнином кресле не кого-нибудь, а врага рода человеческого. Ее спасает случайно заехавшая соседка.

«Если бы на месте Ульрики была я, меня бы спасти не удалось, – неожиданно пугается Сельма. – Я бы к этому времени уже отдала Богу душу».

В другой раз писательница пересказывает легенду о страшной горной ведьме, повелительнице всех ветров, гроз и наводнений, живущей в Вермланде уже, наверное, больше тысячи лет. Подробно описав ужасную старуху, Сельма Лагерлёф мимоходом замечает:

«Я сама ее встречала».

И эти лукавые ремарки, и предельно, подчас даже запредельно романтическая интонация автора порождают сомнения: что это? Ностальгия по прошедшим временам сильных чувств и отважных героев или ирония над собственной ностальгией?

А как ответить на извечный детский вопрос – Йоста Берлинг, главный герой, хороший он или плохой?

На этот вопрос читателю придется ответить самому. Дилемма примерно та же, что в «Онегине», – хороший человек Евгений или плохой?

Йоста Берлинг. Обаятельный, искренний, импульсивный, отважный красавец, готовый на подвиги и самопожертвование. Поэтическая душа, великолепный оратор, прирожденный лидер.

Но!

Безответственный шалопай, не думает о последствиях своих поступков, повинуетя сиюминутным желаниям, нанося при этом окружающим долго не заживающие раны.

Выбор ваш.

Роман на особый, поэтический манер отображает вечную модель общественного развития: революция, стагнация, распад. В финале кавалеры берутся за ум и начинают усердно трудиться. Сельма Лагерлёф старается показать, что в труде и есть смысл жизни. Словно забыла, что несколькими страницами раньше устами насквозь положительной молодой графини опровергла бескрылую богоборческую философию одного из кавалеров, дядюшки Эберхарда. Тот тоже утверждал, что смысл жизни в работе.

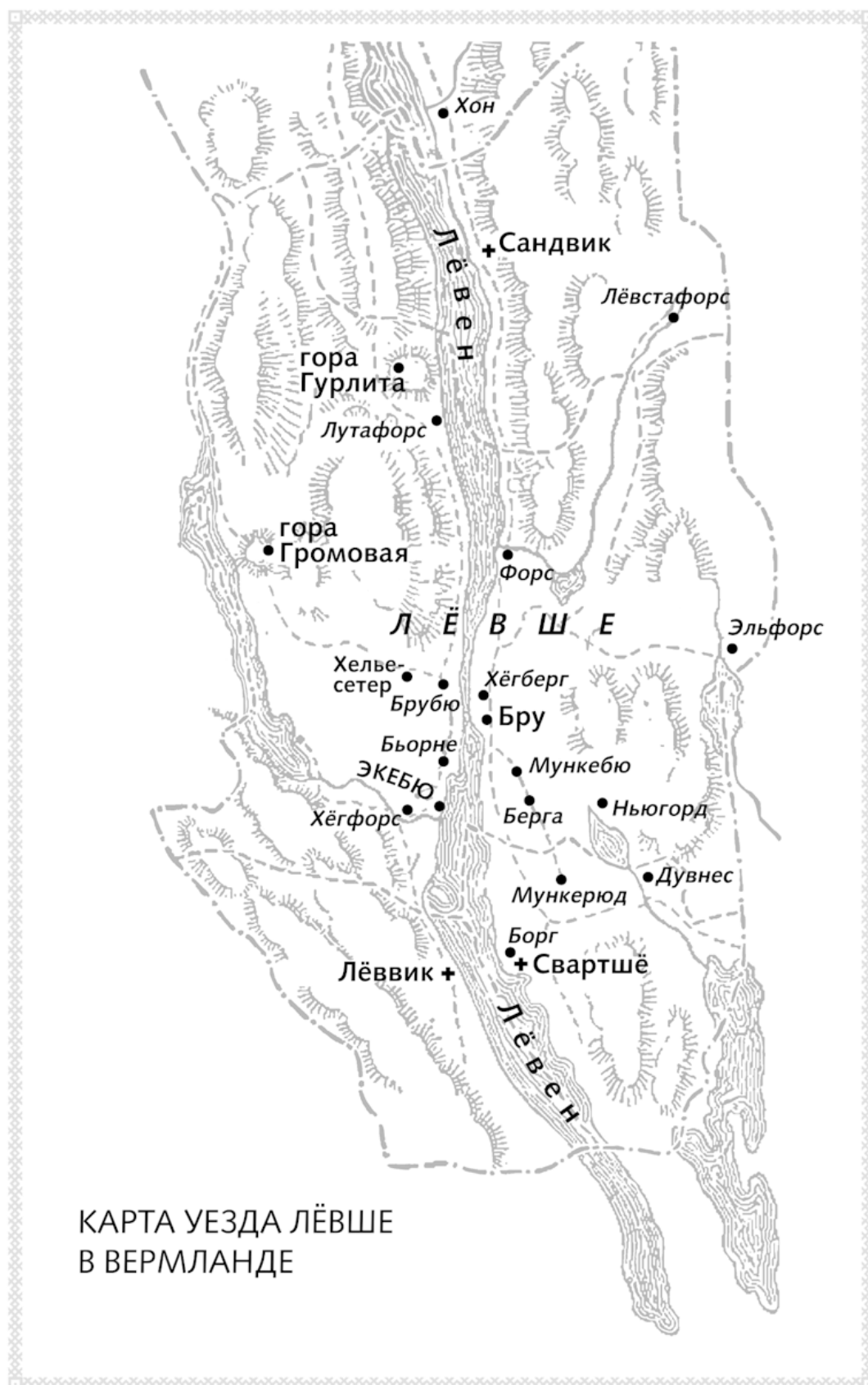
«Разве работа – это Бог? – спрашивает графиня. – Разве в самой по себе работе заключена какая-то цель?»

Может быть, и забыла, что вряд ли, конечно. Но это противоречие делает понятным, почему так очаровательно беспомощны, так трогательно наивны попытки писательницы завершить книгу счастливым финалом – восстановлением разрушенного, всеобщим примирением и катарсисом. Настолько беспомощны и наивны, что невольно приходит в голову – не очередное ли это лукавство великой сказочницы и фантазерки?

И последнее: приношу глубокую благодарность Обществу Сельмы Лагерлёф за предоставленные бесценные материалы.

Сергей Штерн

Сказание о Йосте Берлинге



Пролог

I Пастор

Наконец пастор поднялся на кафедру. По церкви пронесся нестройный многоголосый вздох.

Все-таки явился. Все-таки дождались проповеди. Не то что в прошлое воскресение. Или в позапрошрое.

Пастор был молод, великолепно сложен и ослепительно красив. Надень на него шлем с серебряной чеканкой и кольчугу, дай в руки меч – и перед вами прекраснейший из афинян, Ахиллес. Хоть сейчас в мрамор.

Мечтательные глаза скальда, округлый, но твердый, как колено, подбородок полководца – все в нем было прекрасно, выразительно, все свидетельствовало об уме и духовном совершенстве.

Прихожане не знали, что и думать. Таким они его никогда не видели. Куда привычнее качать головой и кисло ухмыляться, когда их пастор, еле держась на ногах, выползает из местного кабака в обществе таких же пропойц, как и он сам: полковника Беренкройца с седыми, будто ватными, усами и здоровенного, как медведь, капитана Кристиана Берга.

А это еще что за красавец стоит на кафедре? Разве это их пастор? Их пастор беспробудно пьет, месяцами не появляется в церкви. Дошло до того, что община начала писать жалобы. Сначала пробсту¹, потом епископу. Написали даже в соборный капитул².

И именно сегодня приехала с проверкой целая комиссия во главе с самим епископом. Он сидел на хорах в окружении священников из соседних приходов, поглаживал большой золотой крест на груди и недовольно хмурился. Приехали даже преподаватели духовной академии из Карлстада.

Никаких сомнений – пастор перешел границы дозволенного. Тогда, в двадцатые годы девятнадцатого века, на пьянство смотрели сквозь пальцы, но этот молодой красавец не знал меры. Он пренебрег священным долгом, и теперь никто из прихожан не сомневался – пастором ему не быть. Да и сам он никаких надежд не лелеял.

Он стоял на кафедре, дожидался, пока допоят последний стих предваряющего проповедь псалма. Постарался унять дрожь в ногах и внезапно понял: враги. Здесь его враги. Все до единого. Крестьяне на лавках, господа на галерее, мальчишки-певчие в хоре – все его враги. Неприимимый враг топчет педали мехов органа, еще более неприимимый нажимает клавиши. Его ненавидят все, даже младенцы, которых принесли в церковь на руках. И церковный сторож, задубевший в боях солдат, сражавшийся еще с Наполеоном под Лейпцигом, тоже его ненавидит. Ненавидит своего пастыря, а ведь и сам не прочь пропустить стаканчик.

Ему вдруг захотелось упасть на колени и вымолить прощение.

Но он подавил это желание. Вернее, оно исчезло само, потому что его сменил гнев. Он помнил себя, каким он год назад впервые поднялся на эту кафедру. Безупречен, наивен, полон надежд. А теперь стоит за той же кафедрой и смотрит на этого надутого, с золотым крестом, епископа. Тот приехал, чтобы с ним покончить.

¹ Пробст – старший пастор в определенном географическом регионе, подчиненный епископу. – *Здесь и далее примечания переводчика.*

² Соборный капитул – орган, состоящий из представителей духовенства высоких уровней в кафедральном соборе.

С трудом прочитал стих из Библии, смысл которого должен разъяснить в предстоящей проповеди. Ярость подкатывала тяжелыми волнами, глаза застилал багровый туман.

Допустим, это правда – пил он беспробудно, но у кого есть право судить его? Кто-нибудь когда-нибудь видел что-то подобное этой так называемой пасторской усадьбе в Богом забытой деревушке? Где мрачный ельник подступает к разбитым окнам, через которые в дом беспрепятственно льет дождь и валит снег? Где с потолочных балок капает вода, где стены черны от плесени? Где урожая с плохо обработанной земли не хватает, чтобы прокормить всех, и призрак голода стоит у самых дверей?

Разве они заслуживают лучшего пастора? Он как раз то, что им нужно. Они же пили вместе с ним, так почему именно он должен ни с того ни с сего давать обет воздержания? Крестьянин, напившийся до чертиков на поминках по собственной жене, отец, не вяжущий лыка на крещении первенца. Да все они, те, кто сидит в этой церкви, наверняка напьются по дороге домой. Они не заслужили другого пастора!

И не сразу он стал таким. Не сразу. Пусть вон тот, с золотым крестом, попробует поехать по замерзшим озерам в пальто на рыбьем меху, пусть погребет под дождем в лодке по взлохмаченной немилосердным ветром реке, пусть в пургу по десять раз выскакивает из саней, чтобы с лопатой пробить дорогу в саженных сугробах, пусть поищет брод на болотах... можно держать пари, даже сам епископ начнет искать утешения в бутылке.

Дни тянутся за днями, пугая мрачным однообразием. Все, и крестьяне, и помещики, вроде бы думают только о земле, об урожае, но хватает их забот только до вечера – вечером правит бал самогон. Оттаивают сердца, мир светлеет, рождаются песни, и даже полуувядшие розы начинают благоухать. И как легко вообразить, что ты не в прокопченном деревенском кабаке, а где-то в блаженном Средиземноморье... над головой свисают гроздья винограда, зреют маслины, тут и там в темно-зеленой листве невинно белеют мраморные Психеи, а по аллеям под чинарами прогуливаются, неторопливо беседуя, философы и поэты...

Нет, нет и нет. Он, пастор на кафедре, лучше кого бы то ни было знает, что без горячительного прожить в этих краях нельзя. И не только он. Все его прихожане, все, кто сидит в этой церкви, знают это не хуже его.

И они смеют его осуждать!

Они хотят сорвать с него пасторское облачение только потому, что он смел явиться под хмельком в обитель их Бога. Ханжи! Их истинный бог – самогон. Никакого другого бога у них не было и нет.

Он зачитал стих и преклонил колена, чтобы начать «Отче наш».

Во время молитвы в церкви воцарилась гробовая тишина. Пастор вцепился обеими руками в завязки сутаны. Ему показалось, что вся община во главе с епископом крадется к кафедре, чтобы сорвать с него облачение. Он стоял на коленях, опустив голову, видеть он их не мог, но ясно представлял – и епископа, и пробста, и сторожа, и звонаря... вот они потихоньку подбираются к ведущей на кафедру шаткой лесенке, срывают с него сутану... и, не удержавшись, валятся по этой лесенке, валятся, как костяшки домино, сшибая тех, кто напирал сзади.

Он представил эту картину так ясно, что невольно улыбнулся, но тут же его прошиб холодный пот. Ничего смешного: ему готовят участь отверженного, и все из-за спиртного. Отлученный от сана священник – пария, изгой. Такой даже жалости не вызывает. Только презрение.

Что ему остается? Одеться в рубище, просить милостыню на дорогах и ночевать в канаве с такими же, как он, человеческими отбросами.

Пастор дочитал молитву. Настало время проповеди.

И внезапно ему пришло в голову: в последний раз. В последний раз в жизни стоит он на кафедре и доносит мудрость Всевышнего до неразумной паствы.

Почему-то эта мысль тронула его до слез. Он мгновенно забыл и про епископа, и про самогон, про все на свете, настолько важным ему показалось в последний раз восславить Создателя и Покровителя всего живого на земле. Может, никогда уже не представится такой случай.

Его начал бить тревожный и сладкий озноб вдохновения.

Пол церкви опустился, а купол вознесся в неведомые выси. Пастор уже не стоял за пыльной кафедрой – дух его воспарил к нарисованным небесам, и он уже еле различал крошечные фигурки в зале, будто смотрел в перевернутый бинокль.

– Дети мои!

Он всегда мысленно морщился от фальши – какие они ему дети? Почти все в церкви старше его. Но не сейчас. Сейчас это обращение не показалось ему странным. Сейчас все прихожане, все до одного, от старика до младенца, были его детьми. Мало того, он не узнал собственный голос. Откуда только взялся этот неслыханной красоты тембр – торжественный, бархатный и мощный, как медленные удары колокола! Голос его отозвался восторженным эхом во всех уголках внезапно ставшей огромной церкви. Воцарилась мертвая тишина, и каждое слово проникало в сердца онемевших прихожан, наполняя их трепетом, надеждой и восхищением.

Он был человеком вдохновения, наш пастор. Отложил листки с написанной проповедью – нужны ли они, когда мысли роятся сами по себе, и даже не в голове, а над головой, как нимб или стая ручных голубей? Ему даже казалось, что говорит не он, а кто-то другой. И внезапно пришло понимание: никому, даже сильным мира сего со всей их роскошью и могуществом, не суждено достичь высот, где сейчас парил он, проштрафившийся сельский пастор. Именно ему суждено было донести до смертных Откровение Господне.

И он говорил и говорил, пока не подернулась пеплом и не начала остывать горячая лава вдохновения. А когда закончил, когда и купол церкви и пол встали на свое место, он опустил голову и захлебнулся рыданием. Потому что внезапно сообразил: никогда уже не повторится подаренный ему свыше редчайший миг истинного счастья.

После службы был назначен сход общины. Все перешли в небольшой флигель приходского совета. Епископ спросил старосту, нет ли каких-либо жалоб на священника.

А бедный пастор уже забыл охватившую его перед проповедью ярость. Он сидел, повесив голову, и ждал – вот сейчас выплывут на чистую воду все его пьяные подвиги. Какой срам!

Но нет. За столом воцарилась тишина.

Он поднял голову и посмотрел на звонаря – тот покачивал головой и чему-то смутно улыбался. Староста, богатые фермеры, даже надутые владельцы рудников – все молчали.

«Ждут, кто первым начнет лить на меня помои», – решил пастор.

Староста прокашлялся.

– А что... неплохой у нас пастор.

– Уважаемый епископ, думаю, сам слышал, какой он замечательный проповедник, – добавил звонарь.

Епископ нахмурился и напомнил прихожанам о пропущенных службах.

– Пастор тоже человек, – пожал плечами пожилой крестьянин. – Заболеть каждый может.

Епископ пристально оглядел собравшихся:

– Не вы ли выражали неудовольствие... э-э-э... его образом жизни?

И наш пастор не поверил своим ушам: все в один голос принялись его защищать! Он еще так молод, наш пастор, все бывает... но если он будет проповедовать так, как сегодня, они не поменяют его даже на самого епископа, уж вы нас простите, ваше святейшество.

Вот так. Суд не состоится за отсутствием обвинителей.

Пастор почувствовал, как кровь быстрее побежала по телу, сердце забилося, как пойманный в силки заяц. Он был не прав! Они не враги его, они его друзья! Он завоевал их души, они уже не хотят от него избавиться, его не выгонят, он останется пастором!

После дознания епископ, пробсты, теологи из Карлстада и уважаемые члены общины пошли по традиции обедать к герою дня. Пастор был не женат, поэтому заботы по приему гостей взяла на себя жена соседа-арендатора и, надо сказать, управлялась наилучшим образом. Даже собственный дом показался ему не таким уж убогим. Длинный стол накрыли прямо под елями, и это придало особое праздничное очарование белой, с кружевными оборками скатерти, бело-голубому фаянсу, вымытым до горячего блеска бокалам. А чего стоили хитро сложенные, похожие на королевские короны салфетки на каждой тарелке! И в дом зайти не стыдно – две березки у крыльца, а высоко над дверью, под самым коньком, венок из свежих полевых цветов. Пол в сенях по традиции устлан ветками можжевельника, цветы в каждой комнате. И даже плесенью вроде бы не пахнет, чисто вымытые оконные стекла сияют на солнце.

Наш пастор был счастлив и весел. Никогда, никогда больше он в рот не возьмет спиртное!

И все за столом были веселы. И те, кто неожиданно для себя проявил великодушие, и те, кто искренне простил непутевого пастора, и даже высокая комиссия – никому не хотелось скандала.

А епископ поднял бокал и долго рассказывал, с каким тяжелым сердцем собирался он в эту поездку – столько всяких сплетен пришлось ему выслушать. Он, оказывается, приехал, ожидая увидеть Савла, а на поверку оказалось, что не Савла он встретил, не Савла, врага и гонителя истинной веры, а Павла, апостола Павла, светоча христианства. Он говорил и о необычайном проповедническом даре молодого пастора. И нашему молодому другу надо помнить, что такой дар дан ему Богом не для гордыни, не для самолюбования, а для духовного подвига, для терпения и воздержания при выполнении высокого долга, возложенного на него этим редкостным даром.

За обедом молодой пастор пил очень умеренно, но вино все-таки ударило ему в голову. А может, вовсе и не вино, а неожиданное счастье, наступившее его в невозвратной точке падения. И когда гости разошлись, он долго пребывал в том же восторженном настроении. Ему казалось, что даже струящаяся по жилам кровь намного горячее обычного. Ст не было ни в одном глазу. Он открыл окно и подставил лицо прохладному ночному ветерку. Надо попробовать успокоиться и выспаться перед началом новой жизни.

– Не спишь, пастор?

Он вздрогнул и взгляделся в темноту. Прямо по газону к дому шагал человек. Не узнать его было трудно – капитан Кристиан Берг, бродяга и искатель приключений, верный его собутыльник. В этих краях не было никого, кто мог бы сравниться с ним ростом и непомерной силой. Был он огромен, как гора Гурлита, и глуп, как горный тролль.

– Попробуй усни в такую ночь!

И только послушайте, что рассказал ему капитан Кристиан!

Оказывается, у этого колосса появилось недоброе предчувствие, что после всех сегодняшних событий он может потерять собутыльника. Пастор просто-напросто побоится лишней раз приложиться к рюмке, потому что, если вся эта священная братия нагрянет снова, прощай, сутана...

И капитан Кристиан Берг решил повлиять на развитие событий. Раз и навсегда отбить у епископа и его свиты охоту появляться в этих краях. Теперь-то друзья опять смогут без помех собираться здесь, в пасторской так называемой усадьбе, и веселиться, сколько влезет.

Никому в голову не пришла бы такая мысль, а капитану Бергу пришла. И послушайте, что он придумал.

Когда епископ и оба священника из академии в Карлстаде сели в свою крытую коляску и тщательно заперли дверцы, чтобы не вывалиться на ухабах, капитан ссадил кучера с козел, сел на его место и погнал лошадей в светлую июньскую ночь. Верст десять или пятнадцать летела коляска по бездорожью. Капитан дал понять сановным посетителям, на каком тонком волоске висит человеческая жизнь. Он нахлестывал лошадей, а духовные лица в запертой кибитке

молились, как мог бы молиться горох в банке, которую трясет заботливая хозяйка, желая определить, хватит ли гороха на вечерний суп.

Уж не подумали ли вы, мои читатели, что он старался объезжать ямы и рытвины? Что упустил случай спуститься к озеру и гнать прямо по воде, которая грозно журчала под колесами и то и дело заливала кибитку? Уж не подумали ли вы, что, спускаясь с холмов, капитан придерживал лошадей? Наоборот, нахлестывал их немилосердно, и чудом, подлинным чудом не перевернулась коляска со священнослужителями. Можно удивляться, что она не застряла в болоте, – капитан, во всяком случае, никаких стараний к тому не прилагал. Епископ и пасторы сидели и возносили Богу молитвы, и если бы не наглухо закрытые кожаные шторы, можно было бы видеть, что лица их белы как полотно.

Впрочем, так оно и оказалось: когда экипаж остановился на постоялом дворе в Риссестере, бледный-пребледный епископ вылез на неверных ногах из коляски и трясущимися губами спросил:

– И что это значит, капитан Кристиан?

– А значит это вот что, – бодро произнес гигант заранее заготовленную фразу, – надеюсь, теперь его святейшество трижды подумает, прежде чем приезжать с проверками к Йосте Берлингу!

– Вот оно что... – холодно процедил епископ. – Вот оно что... в таком случае передай Йосте Берлингу, что ни я, ни другой священник во всем королевстве никогда к нему не придут.

Всю эту историю и поведал с гордостью глупый капитан Кристиан Берг, стоя под открытым в благоухающий сад окном. Услышав слова епископа, он тут же бросился рассказывать другу о своей победе.

– Теперь можешь быть спокоен, сердечный друг мой пастор, – сказал он. – Больше они не придут.

Ах, капитан, капитан... как он торжествовал, когда перепуганные священники вылезли из злосчастной кибитки! Но друг его пастор вовсе не торжествовал. Он стоял у окна, бессильно опершись на подоконник, и лицо его в неверном свете летней ночи было еще блее, чем у священников. Блее смерти. Ах, капитан Кристиан!

Пастор, недолго думая, ткнул кулаком в глупо ухмыляющуюся физиономию приятеля, захлопнул окно и схватился за голову. Глаза его жгли слезы отчаяния.

Бог ниспослал ему неслыханные мгновения чистого вдохновения, и он же, этот Бог, сыграл с ним такую злую шутку...

Само собой, епископ уверен, что это именно он подослал капитана Кристиана, ни на секунду не усомнится епископ, что вся вдохновенная утренняя проповедь была не чем иным, как злонамеренным притворством. И, конечно, теперь нет никаких шансов, что его, пастора, оставят в приходе.

Когда настало утро, пастора в усадьбе уже не было. Незачем было оставаться и пытаться оправдаться – все равно никто бы ему не поверил. Бог его не простил. Показал, как *могла бы* сложиться его судьба, какое счастье мог бы он испытать, проповедуя людям слово Божье и веру в спасение. Но грехи его слишком тяжелы, и глупо было бы надеяться на что-то другое.

Все это произошло в начале двадцатых годов девятнадцатого века в отдаленном уезде в западном Вермланде.

Грянул первый гром. Но это был далеко не последний удар судьбы из тех, что выпали на долю Йосты Берлинга.

Так молодой жеребчик, не знающий шпор и плетки, при первом же испытании сбрасывает груз, срывается с места и мчит куда глаза глядят, не ведая, что уже поджидает его разверстая пропасть.

II Попрошайка

Холодным декабрьским днем по склону холма в Брубю поднимался нищий. Одет он был в самое жалкое тряпье, которое только можно вообразить, а в рваные башмаки все время набивался снег.

Лёвен – длинное, продолговатое озеро в Вермланде. Можно было бы сказать, что это не одно озеро, а три, соединенные узкими проливами. С высоты птичьего полета оно наверняка напоминает связку сосисок. Начинается оно в диких, непроходимых финских лесах³ на севере, а на юге доходит почти до Венерна. На берегах озера несколько приходов, самый большой и богатый – Брубю. Он расположился на обоих берегах озера. На западном берегу – богатые дома, известные своей роскошью усадьбы вроде Экебю и Бьорне, и конечно же поселок Брубю, давший название всему приходу. Большой поселок с постоянным двором, полицейским исправником и ярмарочной площадью.

Брубю лежит на довольно крутом склоне. Нищий миновал постоянный двор у подножья и теперь плелся к пасторской усадьбе на самой вершине холма.

Он догнал маленькую девочку, с трудом тащившую санки с мешком муки.

– Такая маленькая лошадка и так тяжело везет... – сказал он.

Девочка посмотрела на незваного спутника. Ей не больше двенадцати, а выражение лица, как у взрослой: сжатые в узкую полоску губы, пристальный, подозрительный взгляд.

– Лошадке, какая ни на есть, хорошая поклажа не в обузу.

– Ну да... что ж плохого. Домой тащишь?

– А куда же? Бог милостив. Лошадку-то люди кормят, а я сама себе пропитание добываю, даром что ростом невелика.

– Давай помогу. – Нищий ухватился за высокую спинку саней.

Девочка остановилась и посмотрела на него недоверчиво:

– Только не думай, что и тебе достанется.

Бродяга засмеялся:

– Экая ты суровая... не иначе пасторская дочь.

– В точку попал. У многих отцы победнее, но хуже ни у кого нет. Истинно так, хоть и зорно говорить такое про родного отца.

– Скупой, должно быть, у тебя папаша. И добрым его не назовешь.

– И то и другое. И скупой, и злой, как оса. Но люди говорят, дочь-то еще хуже будет, когда вырастет. Если ей Бог даст вырасти. Это мне то есть.

– Люди зря не скажут... и где же ты взяла этот мешок?

– Твое-то что за дело? Ладно... все равно. Ты не продашь. А продашь, кто тебе поверит! В амбаре утром потихоньку взяла мешок с зерном и отнесла на мельницу.

– А что скажет папаша, когда ты явишься с мешком муки?

– Ты что, с луны свалился? Или Господь тебя недоделал? Что пастору делать дома среди дня? Он в общине.

– В общине? А кто это за нами едет? Слышишь, полозья скрипят... уж не он ли?

Девочка замерла, прислушалась, и лицо ее перекошилось от страха.

– Это он! – всхлипнула она. – Он меня убьет! Убьет!

– Да уж... как раз тот случай, когда дорог хороший совет.

³ Финские леса – малодоступные леса на севере Вермланда, назывались так потому, что еще с XVII века там жили в основном бедные финские эмигранты.

– Вот что, – решительно сказала девчушка. – Ты можешь мне помочь. Возьми веревку и тащи сани, будто они твои.

– И что я дальше буду с ними делать? – Нищий вскинул канат на плечо.

– Тащи, куда хочешь, но чтобы вечером, когда стемнеет, был в усадьбе. Я буду тебя ждать. Не тебя, санки и муку, понял? – поправилась она.

– Попробую...

– «Попробую»... – передразнила девочка. – Попробуй не прийти!

И сорвалась с места – ей надо было успеть домой раньше отца.

Попрошайка скрепя сердце развернул санки и потащил вниз к постоялому двору. С горы – не в гору, но у него были совсем другие планы. Даже не планы, а мечта. Он мечтал о диких лесах к северу от Лёвена, огромных финских лесах.

Ему вовсе не хотелось идти в поселок на берегу пролива между Верхним и Нижним Лёвеном, в эту обитель радости и богатства, где сменяют друг друга роскошные усадьбы и аккуратные фабрички. Любой приют казался ему тесным, любая дорога тяжелой, любая перина тверже камня. Его неодолимо тянуло в вечный покой огромного, непроходимого леса.

Он вздрагивал от каждого удара цепов в ригах. Наверное, такой большой урожай, что до сих пор не обмолотят. Из леса сплошным потоком тащились дровни с бревнами и большими плетеными корзинами с древесным углем, тяжелые повозки с рудой словно плыли по колее, наезженной бесчисленными предшественниками. А легкие сани с чистой публикой носились между усадьбами, и ему казалось, что не сани скользят на полозьях, а любовь и красота, и поводьями правит чистая, незамутненная радость. Скорее бы добраться до леса... он мечтал о лесе, как верующий о Храме, где можно отмолить свои грехи. И молитвы эти будут услышаны, на то и Храм.

Там, в лесу, царят тишина и покой, там огромные сосны возносятся к небу, как колонны в церкви, там ветер едва шевелит иголки в кронах, не в силах даже сбросить тяжелый снег с прогнувшихся веток. Он хотел бы забрести как можно глубже в этот таинственный, манящий лес, брести и брести, пока силы не покинут его. И тогда он упадет под одной из этих величественных елей и медленно и неощутимо умрет, убаюканный вечным холодом...

Он нестерпимо тосковал по этой огромной могиле с еле слышными песнями ветра, по могиле, где бренность всего живого кажется естественной и неизбежной, где голод, холод, усталость и самогон наконец-то положат конец его существованию, уничтожат слабое тело, которое, как оказалось, способно вынести почти все.

Где-то надо дожидаться вечера. Он зашел в бар постоялого двора и без сил опустился на скамью у дверей. Закрыв глаза и опять увидел лес.

Хозяйка сжалась над ним и поднесла стопку самогона. А потом и вторую – он так жалобно попросил, что она не смогла отказать. Но когда попрошайка заикнулся насчет третьей, она покачала головой.

Его охватило отчаяние. Ему вовсе не хотелось умирать здесь, на людях. А чтобы не умереть, он должен во что бы то ни стало выпить еще этого прекрасного напитка.

Хотя бы еще раз почувствовать, как согревается душа, как бежит по жилам кровь, хотя бы раз насладиться свободным полетом мысли. О, эта сладкая пшеничная водка! Солнце, пение птиц, ароматы летнего дня, красота и прелесть мира – все слилось в этой прозрачной маслянистой струе. Еще раз, всего только один раз насладиться солнцем и счастьем, а потом сгнуться в холоде и мраке.

И он обменял на водку сначала муку, потом мешок, а потом и санки. Выпил много и заснул прямо на лавке, где сидел.

А когда проснулся, понял, что натворил. Грешная плоть победила душу, и душа потеряла право на бессмертие. Как он мог! Ребенок доверился ему, а он... Какой позор... Оставалось

только одно: как можно скорее освободить землю от своего присутствия, может, тогда душа его на пути к Богу обретет чистоту и свободу... но и на это надежды мало.

Он, не вставая с лавки, устроил суд над самим собой. «Йоста Берлинг, разжалованный пастор, похитивший муку у голодного ребенка, приговаривается к смертной казни – похоронам заживо в снегу».

Схватил свою шапку, с трудом поднялся с лавки и побрел к выходу. Он еще не совсем протрезвел, и пьяные слезы сострадания к его пока еще бессмертной, как он надеялся, душе катились по небритым щекам. Он должен освободить душу от погрязшего в пороках тела, немедленно, сейчас же, пока в ней теплится хоть какая-то небесная искра.

Далеко он не ушел – прямо на обочине намело огромный сугроб. Он упал в него и закрыл глаза, втайне надеясь, что смертные муки не продлятся чересчур долго.

Никто не знает, как долго он пролежал, но когда дочка пастора нашла его в этом сугробе, он был еще жив. Ждала-ждала в усадьбе, но он все не появлялся, и она побежала его искать.

И нашла.

Начала трясти изо всех сил, старалась разбудить – надо же узнать, где ее мука и санки. Он с трудом разлепил уже помутневшие глаза и, еле ворочая языком, рассказал ей все. Девчонка истошно закричала. Отец убьет ее, если узнает, что она потеряла санки! Она укусила несчастного за палец, исцарапала лицо, ни на секунду не прекращая визжать.

Около них остановились сани.

– Кто это тут верещит? – послышался суровый голос.

– Я! – плаксиво выкрикнула девочка и замолотила кулачками в грудь полузамерзшего попрошайки. – Я тут верещу! Он пропил мою муку и санки, и я должна вернуть их, иначе мне конец!

– Он же совершенно заледенел, а ты царапаешься, как дикая кошка! А ну, вставай!

С саней слезла крупная, крепко сложенная женщина. Она взяла девчонку за шиворот и отшвырнула в сторону, будто это и вправду была кошка. Нагнулась, завела руки под спину попрошайки, подняла его без видимого усилия и положила в сани.

– Иди на постоянный двор, паршивка, посмотрим, что можно сделать, – крикнула она девочке и тронула повода.

* * *

Час или полтора спустя нищий сидел на стуле у дверей лучшего номера постоянного двора, а перед ним, уперев руки в бока, стояла та самая внушительная дама, что вытащила его из сугроба и спасла ему жизнь.

Похоже, она возвращалась из леса от углежогов: руки все в саже. Грязно-белая глиняная трубка в зубах, овчинный нагольный тулуп, домотканая шерстяная юбка в полоску, добротные, мастерски прошитые просмоленной дратвой берестяные башмаки. Тесак в ножнах на поясе. Седые, зачесанные назад волосы, немолодое, но очень красивое и значительное лицо. Конечно, это она. Он слышал про нее тысячу раз.

Перед ним стояла знаменитая майорша из Экебю.

Владелица семи сталелитейных заводов⁴, самая богатая и, наверное, самая могущественная женщина во всем Вермланде, привыкшая повелевать и не сомневаться, что приказы ее будут исполнены. А кто он? Осужденный на нищету и страдания бродяга, сам себя пригово-

⁴ Заводы – небольшие (самое большее – 10–20 рабочих) предприятия по обогащению чугуна путем снижения содержания углерода; готовый продукт, как правило, стальные прутья, полученные путемковки или вальцовки. Владельцы заводов назывались патронами.

ривший к смертной казни. Любая дорога тяжка, любой приют тесен, повторял он мысленно и каждый раз вздрагивал, когда она останавливала на нем взгляд.

Она смотрела на него пристально, будто хотела понять, как мог человек докатиться до такого. Как мог так опуститься этот молодой еще парень в отрепьях, с красными, распухшими руками и невероятно красивым, несмотря ни на что, лицом?

– Значит, ты и есть Йоста Берлинг, тот самый помешанный расстрига?

Он не шевельнулся.

– А я майорша из Экебю.

По телу попрошайки прошла судорога. Он сцепил руки и посмотрел на нее полным беспредельной тоски взглядом. Что она хочет с ним делать? Заставить жить? Он чувствовал в ней пугающую силу. И надо же ей было появиться в последний момент... а ведь он уже был так близко к желанному покою далеких финских лесов.

Но она, видимо, твердо решила не дать ему умереть. Для начала сообщила, что его преступление искуплено – дочка пастора получила назад свои санки и мешок с мукой. И что она, майорша, готова разрешить ему жить во флигеле в своем поместье в Экебю.

– Там ты будешь не один. Там уже живут такие же бездомные бродяги, как и ты. Я их называю кавалерами. – Она усмехнулась.

Она предлагала ему жизнь в достатке и безделье, но он упрямо покачал головой:

– Я хочу умереть. Единственное, что я хочу, – умереть.

Тогда она грохнула кулаком по столу – ну ладно же, тогда слушай, что я о тебе думаю.

– Вот оно что! Умереть он хочет! Большое дело... было бы чему умирать. Посмотри на себя! В чем душа держится... изможденный, тощий, как богомол, одни глаза торчат. Плюнешь – промахнешься. Не так уж много ты оставил для смерти. Ты уже умер! Какая разница, можешь, конечно, лечь в гроб, даже крышку пусть заколотят, мертвее не будешь. Думаешь, я не вижу, что ты давно умер, Йоста Берлинг? Я вижу череп, а не голову. Вижу, как черви копошатся в глазницах, а рот твой набит прахом. А ты сам разве не слышишь, как мертво щелкают позвонки, стоит тебе шевельнуться? Йоста Берлинг утонул. Утопил себя в самогоне и умер. Кости-то еще движутся кое-как, но это кости мертвеца. Скелет. Ты и их хочешь лишить жизни, если тебе угодно называть это жизнью. Да это то же самое, что лишить мертвецов единственной радости – поплясать на кладбище в лунном свете. Стыдишься, что тебя разжаловали, выгнали, лишили сана? До того стыдно, что умереть собрался? Позволь сказать, что больше пользы было бы, если бы ты воспользовался данным тебе божьим даром и принес хоть какую-то пользу на созданной Им зеленой и прекрасной земле! Надо же! Почему не явился ко мне сразу? Я бы все поставила на место. А теперь он, видите ли, жаждет, чтобы его завернули в саван и положили на опилки. Да еще кто-нибудь скажет – поглядите, какой пригожий мертвец!

А нищий слушал ее и чувствовал, как к нему постепенно возвращается желанный покой. На губах заиграла бледная улыбка. Пусть говорит, сколько влезет... величественный лесной храм ждет его. Никто не в силах повернуть его судьбу.

Майорша замолчала и несколько раз прошлась по комнате – туда и обратно. Села у камина и поставила локти на колени. На лице заплясали грозные отблески пламени.

– Тысяча чертей! – хохотнула она. – В моих словах больше истины, чем я сама могла подумать. Не думаешь ли ты, Йоста Берлинг, что в этом мире много живых людей? Почти все либо совсем умерли, либо умерли наполовину. Ты думаешь, я живу? Как бы не так! Посмотри на меня внимательно! Майорша из Экебю, самая могущественная женщина во всем Вермланде... Мне достаточно пальцами щелкнуть, и наместник тут как тут, щелкну два раза – епископ, а уж если три – глядишь, весь капитул и советники, да и заводчики заодно пляшут польку на площади в Карлстаде. И все же... тысяча чертей, паренек! Две тысячи! Три! Посмотри на меня. Приодетый труп. Жизни во мне осталось – с комариный сик.

Нищий подался вперед – такого он не ожидал. А майорша покачивалась на стуле, смотрела на игру пламени в камине и говорила, говорила... Ни разу даже не повернулась.

– Будь я живой... неужели не зашло бы сердце мое в печали, глядя на тебя, изможденного, жалкого, ничего не желающего, кроме смерти? Неужели не нашла бы я слов утешения, не пролила бы слез над твоей горькой судьбой? Неужели слезами и молитвой не спасла бы твою душу? Будь я живой... но я мертва.

Ты, наверное, и не слышал – была когда-то красавица, и звали ее Маргарета Сельсинг. Не вчера это было, но и сейчас старые глаза мои жгут слезы, когда думаю я о ее... о своей судьбе. Почему Маргарета Сельсинг должна умереть, а Маргарета Самселиус остаться в живых, с какой стати майорша из Экебю оказалась приговоренной к жизни? А знаешь, какова была Маргарета Сельсинг? С осиной талией, стройна, скромна и невинна... вот какой она была, Йоста Берлинг. Из тех, на чьих могилах плачут ангелы.

Она была добра ко всем, и все были добры к ней. Никому даже в голову не приходило причинить ей зло. А уж красива была... таких поискать, и то не найдешь.

И в один прекрасный день появился парень – молодой, сильный, красивый. Звали его Альтрингер. Никто не знает, как его занесло в эти края, в пойму Эльвдалена, где у родителей Маргареты был небольшой рудничок. Еще раз говорю: парень был – заглядение. И он влюбился в Маргарету. И она его полюбила.

Одна незадача – беден он был, как церковная крыса. И договорились они ждать друг друга. Пять лет, точно, как в песне... «Пять зим, пять вёсен»...

Не прошло и трех лет, явился другой жених. Урод, каких мало, но родители решили, что лучшего жениха не найти, и заставили Маргарету выйти за него замуж. Не уговорами, так угрозами, а иной раз и кулаки в ход пускали... И знаешь – умерла Маргарета Сельсинг. В день свадьбы умерла. С тех пор нет на земле Маргареты Сельсинг, осталась только майорша Самселиус. Ничего хорошего в ней не было, она была уверена, что всем на земле властвует зло, и не замечала добра. Куда исчезла ее застенчивость!

Да ты наверняка знаешь, что было дальше. Мы, майор и я, жили в Шё, здесь недалеко, на берегу Лёвена. Он оказался вовсе не так богат, как надеялись родители, нередко туговато приходилось, а потом и вовсе обнищал.

И тут вернулся Альтрингер. Он сказочно разбогател, купил поместье Экебю по соседству и шесть сталелитейных заводов. Энергичный, дельный хозяин и замечательный человек. И он все еще был влюблен в Маргарету Сельсинг.

Он даже помогал нам – мы ездили в его колясках, он посылал продукты на нашу кухню, вино в погреб. И опять наполнил мою жизнь радостью и счастьем. Майор уехал на войну, а нам-то что! Сегодня я приезжала в Экебю, завтра – он в Шё. Не жизнь была – танец по розам...

Но, само собой, пошли разговоры. Была бы жива Маргарета Сельсинг, умерла бы со стыда, а мне было плевать. Но тогда я еще не понимала: это потому, что я умерла. Мертвые сраму не имут.

Слухи дошли до моих родителей – углежоги в Эльвдальских лесах нашептали. Мать долго не размышляла – поехала меня уламывать.

И в один прекрасный день явилась. Майора не было, а мы, я и Альтрингер, сидели с гостями за столом. Я видела, как она входит в зал, но я ее не узнала! Я ее не узнала, Йоста Берлинг! Не узнала свою мать! Поздоровалась, как с незнакомкой, пригласила за стол – таков обычай в наших краях.

Она-то, наверное, была уверена, что я ее дочь, пыталась поговорить со мной, но я ее остановила.

«Вы ошибаетесь, – сказала я ей. – Мои родители давно умерли. Они оба умерли в день моей свадьбы».

Она и бровью не повела. Семьдесят лет, двести верст отмахала за три дня, и хоть бы что! Села за стол и принялась за еду. Сильная была женщина...

«Горе какое, – говорит, – надо же, – такое несчастье и в такой день. Печально, печально...»

«Печально не это. Печально то, что они не умерли на день раньше. Тогда бы и свадьбе не бывать».

«А разве госпожа майорша недовольна своим браком?»

«Теперь довольна. Нет большего счастья, чем выполнить волю моих драгоценных, безвременно ушедших родителей».

«Была ли на то родительская воля, чтобы дочь навлекла позор на себя и на них? Чтобы она изменяла мужу? Вряд ли покойные родители обрадовались, узнав, что дочь их блудница».

«Сами толкнули ее на это... как постелешь, так и поспишь. К тому же милостивая госпожа должна понимать: я не допущу, чтобы чужие люди порочили дочь моих родителей».

За столом все замерли. Никто не прикасался к еде, только мы и ели – я и она.

Сутки пожила она у нас, отдохнула и собралась в дорогу. И клянусь, ни разу не пришла мне в голову мысль, что она моя мать. Я твердо знала одно: моя мать умерла.

И вот, Йоста Берлинг, собралась она уезжать. И коляску уже подали. Стоим мы на крыльце, а она говорит:

«День я прожила у тебя, и ты ни разу не назвала меня матерью. По бездорожью добиралась я к тебе, двести верст за три дня, и вся дрожу от стыда за тебя, мою дочь. Дрожу, будто меня секут розгами. Пусть все отрекется от тебя, как ты отрекалась от меня, своей матери⁵! Да станет дорога твоим домом, да будет клоч соломы твоей постелью, пусть согревают тебя угольные ямы. Позор и бесчестье – вот что тебе суждено. И пусть каждый плюет на тебя, как плюю я, твоя мать!»

И отвесила мне крепкую пощечину, даром что старуха.

Я стерпела, усадила ее в коляску и спросила:

«Какое право у тебя меня проклинать? Кто ты такая, чтобы бить меня?»

И дала ей ответную пощечину.

Коляска тронулась в путь, и только в этот миг, только в этот миг, Йоста Берлинг, я осознала, что Маргареты Сельсинг на свете больше нет. Она умерла.

Нищий слушал ее, и на какой-то момент ему показалось, что звуки ее голоса заглушили манящий шепот далеких заснеженных лесов. Он и ожидать такого не мог. Подумать только: эта величественная дама, хозяйка Вермланда, рассказывает про свои грехи. И все ради того, чтобы вселить в него мужество, заставить продолжать жить! Ради того, чтобы он понял: не он один такой пропащий, другие тоже погрязли в грехе.

Он с трудом встал и подошел к майорше.

– Ну что? – спросила майорша со слезами в голосе. – Захотелось тебе жить, Йоста Берлинг? Из тебя мог бы выйти замечательный пастор, но никогда, слышишь, никогда тот Йоста Берлинг, которого ты утопил в вине, не был так чист и невинен, как Маргарета Сельсинг! А я своими руками погубила ее! Теперь ты понял, что обязан жить?

Йоста упал перед ней на колени.

– Простите меня, – прошептал он. – Не могу.

– Значит, решил... надо же, я, старая, зачерстневшая от горя женщина, сижу здесь и откровенничаю. С попрошайкой, которого нашла полузамерзшим в сугробе. С бродягой, который надумал лишиться себя жизни. Надумал – так надумал. Мне же лучше – никому не передашь, что я тебе тут наплела.

⁵ Парафраз цитаты из Второго послания апостола Павла Тимофею: «...если отречемся, и Он отречется от нас» (2 Тим. 2:12).

– Госпожа майорша, я не самоубийца, я приговоренный! Мне и так нелегко, а вы... Поймите, я не имею права жить. Плоть моя растоптала и раздавила душу, я должен освободить ее, пока в ней еще теплится искра бессмертия, отпустить душу к Богу.

– Надеешься, долетит? – Она усмехнулась.

Йоста вздрогнул:

– Прощайте, госпожа майорша! Прощайте и спасибо.

– Прощай, Йоста Берлинг.

Нищий встал и неверными шагами, с поникшей головой поплелся к двери. После встречи с этой женщиной путь в далекие финские леса уже не казался таким легким и манящим.

У двери он обернулся, встретился взглядом с майоршей и обмер. В жизни не приходилось ему видеть такого превращения. Только что она была полна гнева, горечи и презрения, а сейчас черты лица волшебным образом изменились, и в глазах светилось сострадание. Сострадание, нежность, любовь и прощение.

И что-то дрогнуло в нем, что-то сверкнуло сквозь окутавшую душу ледяную пелену отчаяния. Он прислонился лбом к косяку, обхватил голову руками и горько зарыдал.

Майорша швырнула свою трубку в камин, подошла к нему и обняла – нежно и ласково, как когда-то обнимала мать.

– Мальчик мой... мальчик мой...

Она подвела его к стулу у камина, но он опустился на пол и уткнулся лицом в ее колени.

– По-прежнему жаждешь смерти?

При этих словах он хотел вскочить, но она силой удержала его.

– Я еще раз говорю – поступай, как хочешь, как велит твое сердце. Единственное, что я могу тебе обещать, если ты останешься жить, я возьму к себе пасторскую дочку, эту дикарку, и сделаю из нее человека. И она возблагодарит Бога, что тот послал ей тебя, а ты пропил ее муку. Ну как?

Он поднял голову и посмотрел ей в глаза:

– Вы всерьез?

– Всерьез, всерьез, Йоста Берлинг.

Он увидел перед собой злые, перепуганные глаза, сжатые в нитку по-старушечьи губы, красные замерзшие ручонки. Вполне может быть, если кто-то позаботится об этой девчонке, согреет ее рано очерстевшую душу, может, и забудет она со временем череду унижений, и исчезнет ее оскал на весь жестокий, ополчившийся против нее мир. Это показалось ему настолько важным, что мысль о призрачной смерти в вечных финских лесах уже не казалась такой привлекательной.

– Пока майорша будет ее опекать, я с собой не покончу, – тихо сказал он. – Я так и знал, что вы заставите меня жить тем или иным способом. Вы сильнее меня.

– Йоста Берлинг! – сказала она торжественно. – Я боролась за твою жизнь, как за свою собственную. Я взмолилась Богу – Боже, если осталось во мне хоть что-то от Маргареты Сельсинг, позволь ей хоть на секунду показаться на свет! Может быть, ей, Маргарете, погибшей во мне невинной девушке, ты поверишь! И Он, великий и непостижимый, позволил! Позволил ей показаться на свет, и ты, Йоста Берлинг, видел не меня! Ты видел ее, ее, Маргарету Сельсинг, полную любви и сострадания... потому ты и остановился у дверей. А она шепнула мне, она подсказала, что мысль о бедной озлобленной девчонке помешает тебе наложить на себя руки. О, души человеческие! Вы летите, как дикие птицы, куда вам вздумается, часто себе на погибель, но Господь наш знает, в какие силки вас ловить...

– Вы говорите о Боге, – задумчиво сказал Йоста Берлинг. – Действительно, непостижимый... Он лишил меня всего, отверг, бросил в мрак нищеты и отчаяния – и в последний момент не дает мне умереть... Да будет так...

С этого дня Йоста Берлинг стал одним из кавалеров из Экебю, как называла их майорша. Дважды пытался он покинуть Экебю. Как-то майорша подарила ему хутор неподалеку. Он переехал туда и решил зарабатывать физическим трудом. Поначалу все шло хорошо, но потом он утомился от одиночества и тяжелой работы и вернулся в Экебю. Все пошло своим чередом. В другой раз Йоста Берлинг нанялся домашним учителем к графу Хенрику Дона и влюбился в его сестру, Эббу Дона. Но когда он уже был близок к тому, чтобы завоевать ее сердце, она неожиданно умерла, и с тех пор он прекратил все попытки начать новую жизнь. Ему суждено было остаться кавалером в Экебю. Все пути к исправлению для разжалованного священника, похоже, были закрыты.

Глава первая

Ландшафт

А теперь надо описать продолговатое озеро, плодородную степь и дымчато-голубые горы по берегам, потому что именно здесь, в этих краях, протекала непутевая жизнь Йосты Берлинга и майоршинных кавалеров.

Озеро начинается довольно далеко на севере. Озера знают, где им начинаться, – лучшего места не выберешь. Лес, горы и холмы ни на секунду не прекращают собирать для него воду, ручьи и родники стремятся к нему круглый год. Белый, тонкий песок на берегу, на котором так сладко вытянуться, мыски и холмы, отражения деревьев в заросших кувшинками и лилиями заводях. А сколько нимф, и ундин, и наяд, и русалок! Наверное, они и мечтать не могли о таком месте для ночных игр...

Здесь, на севере, озеро приветливо и гостеприимно. Стоит только посмотреть на него ранним утром, когда оно просыпается и сбрасывает с себя утреннюю пелену – сначала медленно, словно лениво, а потом сразу, рывком освобождается от последних качающихся клочьев тумана. Розовое и свежее, оно тут же накидывает на себя тонкую сверкающую вуаль солнечных искр.

А ему все мало. Узким проливчиком прорвавшись сквозь песчаные дюны, озеро стремится на юг, искать новых приключений. Оно становится больше и величественнее. Правда, появляется работа: надо заполнить бездонные провалы, постараться украсить и без того живописный пейзаж. Озеро и здесь прекрасно, но по-иному – вода не такая голубая, как на севере, она темна и масляниста, под ней угадывается грозная глубина. Ветра сильнее и порывистее, берега суровее и однообразней. Чуть не круглый год снуют по озеру корабли, работают плотогонцы, навигация прекращается поздно, чуть не перед самым Рождеством. Но в зимние дни озеро небезопасно: иногда оно начинает гневаться, темнеет, по нему бегут нарастающие белыми гребнями пены волны. В такие дни не стоит поднимать парус; немало неосторожных моряков нашли свою могилу в пучине. А потом успокаивается, замирает в мечтательной дреме и отражает каждое облачко так безупречно, что и понять нельзя, кто кого отражает – озеро небо или небо озеро.

Что ж, довольно теперь озеро? Нет, ему не угодишь. Оно продолжает стремиться на юг, хотя со всех сторон уже подступают неприступные скалы. С трудом, вновь оборотившись проливом, проталкивается наше озеро сквозь утесы и разливается в третий раз. Но могло бы этого и не делать: прежней красоты уже нет.

Ровные, скучные берега, ветра, правда, не такие свирепые, но и зимняя спячка наступает намного раньше – там, на севере, еще всюю перегоняют плоты, а здесь озеро уже сковано льдом. Конечно, оно все равно красиво – как может быть некрасивым озеро? – но нет уже в нем той юной свежести и зрелой силы. Обычный водоем, как и многие другие. Двумя рукавами нащупывает озеро путь к Венерну, а когда находит, из последних сил обрушивается с кручи и с предсмертным грохотом замирает.

Озеро длинное, но и окружающая его равнина не короче. Конечно, ей не так легко пробиваться на юг, как озеру, – на пути встают реки, горы, не говоря уж о глубокой котловине на самом северном конце Лёвена. Но равнина не менее упряма, чем озеро, – в конце концов все-таки добирается до Венерна, и там-то ей привольно и спокойно. Охотнее всего она следовала бы берегам, и так бы оно и было, если бы не горы. Горы то и дело преграждают ей путь. Огромные серые стены, покрытые кишашими дичью лесами, изрезанные расщелинами и оврагами, поросшие мхом и лишайником. Каждая речушка, каждый ручей требуют свою дань, и равнина по пути на юг оставляет им на память крошечные озерца и болота, где клеенчатая черная вода почти не видна под изумрудным слоем ряски. Потом она натывается на заброшенные углежо-

гниые ямы, на вырубки, откуда уже вывезены бревна, на выжженные под пашню наделы. А горы больше всего любят греться под солнцем и любоваться вечной игрой света и тени на своих склонах.

И с этими ленивыми горами трудолюбивая, богатая и кроткая равнина, стараясь сохранять вежливость, ведет вечный спор.

– Вы окружили меня своими стенами, это замечательно, я чувствую себя в безопасности. Больше мне ничего не надо, – говорит она горам.

Но куда там! Горы и слушать не хотят. Они высылают целые полки холмов и каменистых плато к самому озеру, возводят красивые смотровые площадки у самой воды. У равнины нет ни малейшей возможности понежиться на песчаных берегах – все заняли горы.

– Сказала бы спасибо, – отвечают горы. – Ты должна радоваться, что мы здесь стоим. Подумай, что бы с тобой было в декабре, перед Рождеством, когда над Лёвеном ночью и днем ползут ледяные смертные туманы!

Но равнина начинает жаловаться – и места маловато, и вида никакого.

– Глупее ничего не придумаешь! Поглядели бы мы, что ты будешь говорить о каком-то «виде», когда с озера задует пронзительный ветер! Ты же совсем голая! Чтобы вынести такое, нужен густой мех из ельника и гранитный хребет. Да и в конце концов, мы-то тебе чем не нравимся? Любуйся, сколько влезет!

А равнина только и делает, что любит на эти горы. Больше ей и любоваться не на что. Конечно, горы красивы, в этом им не откажешь: чего стоит один только волшебный фонарь на их склонах, когда они по десять раз на день меняют цвет – от светло-серого до темно-фиолетового, а иногда вдруг вспыхивают закатным багрянцем. Надо только посмотреть, как в полдень они опускаются и сереют, уступая место огромному небу, а к концу дня опять вырастают сизой громадой на фоне заката. А то свет упадет так, что каждая расщелина, каждый мелкий утес, каждый выступ играют всеми переливами радуги, и видно их за много-много верст. Иногда все же горы милостиво расступаются и позволяют равнине подобраться к берегу и поглядеть на Лёвен, но не без умысла. Равнина видит разгневанное озеро, оно шипит и плюется, как пойманная рысь, а то покрыто холодным туманом – всем известно, откуда этот туман. Водяные варят пиво или стирку затеяли. Наверное, горы правы, решает равнина, ничего хорошего нет в этом озере, и снова прячется в тесные ущелья.

Люди начали возделывать равнину с незапамятных времен, и теперь она заселена довольно тесно. Везде, где, прыгая по камням, стремятся к озеру горные реки, строят они мельницы и фабрики. Там, где равнине все же удастся добраться до берега, стоят церкви и пасторские усадьбы, а на каменистых склонах разместились крестьянские дворы, дома офицеров и даже господские усадьбы.

Но в те времена, о которых идет речь, в начале девятнадцатого века, равнина еще не была заселена так плотно, как сейчас. Там, где сейчас пашни и выпасы, были леса и болота. И народу было не так много, как сейчас. Промышляли извозом или уходили на заработки в города – прокормиться земледелием было почти невозможно. Одевались в домотканые одежды, ели овсяный хлеб и довольствовались ежедневным заработком в двенадцать шиллингов. Нужда стояла у дверей, но трудолюбивые и умелые люди не унывали. Их и спасали трудолюбие и мастерство, но, к сожалению, лишь в чужих краях эти замечательные свойства были оценены по достоинству.

Стараниями всей троицы – озера, голубых гор и богатой, плодородной равнины – образовался пейзаж, красоту которого трудно вообразить. И обитатели, как всегда бывает, старались соответствовать красоте природы – край и сегодня населен мужественными, одаренными, стойкими людьми. Но в наши дни нищета отступила, появилось образование. Люди стали жить лучше.

Пусть они будут счастливы, обитатели волшебного края на берегах длинного озера Лёвен и голубых гор! Не было бы их, не было бы и моего рассказа, сплетенного из их легенд и воспоминаний.

Глава вторая

Ночь перед Рождеством

Его звали Синтрам, злобного заводчика из Форса, с обезьяньим туловищем, непомерно длинными руками и безобразной, вечно ухмыляющейся физиономией, того, для кого не было большей радости, чем сеять зло.

Его звали Синтрам, того, кто нанимал в работники только отпетых негодяев и драчунов, а в служанки – лживых и сварливых девок. Того, кто доводил собак до бешенства, втыкая им в нос иглы, того, кто был счастлив только в окружении мерзавцев и свирепых зверей. Его звали Синтрам.

Его звали Синтрам! Его звали Синтрам, того, для кого не было большего счастья, чем вырядиться под нечистого, надеть шкуру, прицепить рога, хвост и копыта и внезапно вынырнуть в темноте из-за печки или поленницы, пугая до полусмерти суеверных старушек и детей.

Его звали Синтрам, того, кто умел превратить нежную дружбу в непримиримую ненависть, кто отравлял сердца людей ложью и клеветой.

Его звали Синтрам. И в один прекрасный день явился он в Экебю.

* * *

– Волоките санки в кузницу, ставьте посередине и положите сверху днище от телеги, вот и стол готов. Что за праздник без стола! А сидеть на чем? Давайте сюда все, на чем можно зад пристроить. Пустые ящики, треноги сапожников, драные кресла, пуфики, санки без полозьев... а это что? Кузов от коляски? Это будет кафедра. Вы только посмотрите, какая шикарная! Колесо оторвано, стенки неизвестно где, один облучок остался, подушки разодраны и мхом поросли... а кожа вся красная! То ли от стыда, то ли от старости. Ну и развалина! А высоченная, как дом. Подоприте ее оглоблями, чтобы не рухнула.

Ура! Начинается рождественская ночь в Экебю. В двуспальной кровати под шелковым балдахином спит майор, спит майорша... спят и думают, наверное, что и кавалеры во флигеле спят. Как бы не так! Кем надо быть, чтобы такое подумать?

Босые кузнецы не ворочают поковки, чумазные мальчишки-подручные не таскают тачки с углем, молот, похожий на руку со сжатым кулаком, висит на крюке под крышей, печи не открывают свой красный зев, чтобы проглотить очередную порцию древесного угля. Кузница спит.

Спит кузница, спит... Спит устрашающее порождение человеческого разума, а кавалеры не спят! Кузнечные клещи поставлены в ряд, в их челюстях зажаты огарки сальных свечей – чем не канделябры! Рожковый фонарь Беренкройца привязали к молоту под потолком. Из сверкающего двухведерного медного котла вырываются языки призрачного голубоватого пламени – на решетке горит целая голова смоченного ромом сахара, и золотистая карамель стекает в играющий праздничными бликами пунш. Стол готов, сидеть есть на чем. Кавалеры встречают Рождество в кузнице!

То и дело вспыхивает смех. Их не пугает, что кто-то услышит шум застолья, – все заглушает величественный рев порогов за стенами кузницы.

Пирушка в разгаре. Что сказала бы майорша, если бы увидела? Но она ничего не скажет, потому что спит крепким сном в кровати под шелковым балдахином.

А если и проснется, что такого? Она с удовольствием осушила бы с ними стаканчик-другой. Умная женщина, ее не испугает застольная песня, она даже с удовольствием сыграет с

ними в партию-другую в шилле⁶. Богатейшая дама в Вермланде, отважная, как мужчина, гордая, как королева. Любит попеть, послушать скрипку или рожок. И от вина не отказывается, и от карт, и застолье ей по душе. Припасы из кладовой – к столу, танцы и песни – пожалуйста, флигель с кавалерами – замечательно. Посмотрите на них у котла с пуншем, только посмотрите на этих кавалеров! Их двенадцать, двенадцать отборных мужей. Не светских мотыльков в модных фраках и обтягивающих панталонах, а настоящих мужей, сильных и отважных. Долго не померкнет их слава в Вермланде.

Высохшие за конторскими книгами пергаментные старики, толстяки, похожие на туго набитые кошельки, – это не про них. Дела их не волнуют. Они бедны и беззаботны. Лучшего имени, чем дала им майорша, и придумать нельзя. Кавалеры.

Не маменькины сынки, не сонные господа в сонных поместьях. Бродяги, пропойцы, весельчаки, искатели приключений.

Уже много лет пустует флигель, где когда-то жили кавалеры. Отставные офицеры и обедневшие дворяне уже не находят там приют. Никто не колесит по Вермланду в зыбких одноколках. По правде сказать, и пользы-то никакой от них не было, но земля без них скучнее. И как хочется, чтобы кто-то воскресил это веселое, вечно юное, беспутное племя!

Все эти знаменитые шалопаи играли на одном или нескольких инструментах. В головах у них, может, ничего дельного и не было, зато там кишели, как муравьи в муравейнике, песни, рифмы и зажигательные ритмы. Этим они были похожи друг на друга, но только этим. Каждый обладал особенным даром, отличавшим его от остальных.

Первым из тех, кто собрался у медного котла с пуншем, назову я Беренкройца, полковника с пышными белыми усами. Этот полковник помнил чуть не все песни Бельмана, но главное – ему не было равных в игре в шилле. Рядом с ним сидит его друг и однополчанин, молчаливый майор Андерс Фукс, великий охотник на медведей. А третий – маленький Рустер, полковой барабанщик. Он долго был денщиком Беренкройца, но был возведен в звание кавалера за несравненное умение варить пунш и держать генерал-бас в многоголосии. Нельзя не сказать и о пожилом подпоручике Рутгере фон Эрнеклу, большом франте и поклоннике женского пола. Он, казалось, никогда не снимал высокий черный шелковый воротник с бантом, жабо и парик, он даже пользовался румянами, как женщина. А как не упомянуть его могучего друга, капитана Кристиана Берга, рыцаря без страха и упрека? Правда, особым умом капитан не блистал: обмануть его было так же просто, как глупого великана из сказок.

В обществе этой пары часто можно было видеть маленького, пухлого Юлиуса, бывшего помещика, которого все называли патроном. Веселый и остроумный, говорун, художник, скальд и настоящий кладезь анекдотов, он постоянно разыгрывал подагрического подпоручика Рутгера фон Эрнеклу и простака-великана Кристиана Берга.

И, конечно, великий немец Кевенхюллер, изобретатель самоходной коляски и летательного аппарата, чье имя до сих пор можно уловить в шелесте листьев в непроходимых лесах. Истинный рыцарь по происхождению, да и вид у него самый что ни на есть рыцарский: эспаньолка, подкрученные усы, орлиный нос и постоянно прищуренные глаза в сети морщин, которые принято называть гусиными лапками. А как не назвать великого воина, кузена Кристофера, никогда не покидавшего кавалерский флигель, разве что для медвежьей охоты или в предвкушении очередного приключения. Рядом с ним – дядюшка Эберхард, философ и мыслитель. Он, может быть, и не поселился бы в Экебю, если бы не страстное желание не думать о ежедневном куске хлеба, а посвятить себя науке наук и закончить свой, без сомнения великий, труд.

А напоследок я оставила лучших из лучших: кроткого и богобоязненного Лёвенборга, который был слишком хорош для этого погрязшего в грехах мира и вряд ли соображал, куда

⁶ Шилле, или чилле, – старинная карточная игра для трех игроков.

ведут его пути. И, само собой, замечательного музыканта Лильекруну. У Лильекруны собственное поместье, но он и сам смог бы объяснить, что влечет его в Экебю. Скорее всего, душа его слишком жаждала разнообразия и новых впечатлений, чтобы перетерпеть унылую жизнь в захолустье.

Все одиннадцать уже далеко не юноши, а многие уже перешагнули порог старости. Но есть еще один, кому не исполнилось и тридцати, в ком сохранилась и душевная, и физическая молодость. Я говорю о Йосте Берлинге, кавалере из кавалеров! Он превосходил всех в искусстве говорить речи, петь, играть на инструментах, охоте, умении выпить. Я говорю о Йосте Берлинге, заядлом картежнике. Вот о ком я говорю, о Йосте Берлинге, обладающем всеми достоинствами, которыми должен обладать истинный кавалер. Подумать только, какой презент всей честной компании сделала майорша, приведя его в Экебю!

Посмотрите на него, как он взбирается на эту смешную, сделанную из обломков коляски и подпертую оглоблями кафедру! Посмотрите, как шарят по кузнице длинные фестончатые тени с черного потолка, словно набрасывая траурную шаль на его светлую прекрасную голову, голову бога-светоносца, преодолевшего хаос и тьму мира! И он и в самом деле похож на Аполлона – изящный, несказанно красивый, полный жажды новых приключений молодой бог.

Все ждут от него шутки, но он начинает с неожиданной серьезностью:

– Братья-кавалеры! Дело идет к полночи, но праздник продолжается. Теперь самое время поднять бокалы за тринадцатого за нашим столом!

– Йоста, брат мой! – восклицает патрон Юлиус. – Какой тринадцатый? Нас здесь ровно дюжина.

– Каждый год в Экебю умирает один из кавалеров, – голос Йосты с каждым словом становится все мрачней и торжественней, – умирает один из обитателей нашего флигеля, один из веселых, беззаботных, вечно молодых кавалеров. Так и быть должно – кавалер не имеет права состариться. Если дрожат руки и ты не можешь поднять бокал, если угасающие глаза не могут отличить пику от червы, что за радость для тебя от такой жизни? И что за радость для жизни от такого тебя? Каждый год умирает один из тринадцати, и каждый год приходит новый, чтобы пополнить наши ряды. Приходит новый, искусный, как и мы, в ремесле счастья, не чурающийся скрипки и карт. Дневным бабочкам не положено знать, что такое ночь. Они живут, только покуда им светит солнце радости и надежды. Так выпьем же за тринадцатого!

– Но Йоста! – дружно закричали кавалеры, не прикасаясь к бокалам. – Нас же только двенадцать!

А Йоста Берлинг, которого все называли поэтом, хотя он в жизни не написал ни одной поэтической строчки, ни на секунду не смутившись, продолжил торжественно и спокойно:

– Кавалеры, братья мои! Не забывайте, кто мы. Мы – те, кто отвечает за радость в нашем Вермланде. Те, кто не дает покоя смычкам, те, кто не дает остановиться танцам, благодаря нам не смолкают звуки песен и баллад. Наши руки не знают труда, и золото не занимает наши души. Если бы не было нас, угасло бы лето, умерли бы танцы и розы, песни и карты и в этом благословенном краю не осталось бы ничего, кроме железных рудников и заводчиков. Пока мы живы – жива радость. Шесть лет кряду празднуем мы Рождество в кузнице, и ни разу не решались выпить за тринадцатого.

– Но Йоста! – опять закричали кавалеры наперебой. – Нас только двенадцать! Как мы можем пить за тринадцатого?

На лице Йосты отразилось беспокойство.

– Разве? Разве нас только двенадцать? И что же с нами будет? Что же, по-вашему, мы обречены на смерть? На следующий год нас будет одиннадцать, потом десять? И что же, наши имена канут в вечность, будут упоминаться разве что в сказках? Выпьем же за тринадцатого! Я уже поднял за него бокал, и вы сделайте то же самое. Из глубин моря, из недр земли, с небес или из преисподней пусть явится он, чтобы встать в наши ряды. Я призываю тебя, тринадцатый!

И в эту секунду в дымоходе что-то загремело, из печи брызнул сноп искр, и в кузнице появился тринадцатый.

Перепаханный сажей, с рогами, хвостом и копытами, обросший грязно-серой мохнатой шерстью, с острой козлиной бородкой. Кавалеры в ужасе повскакали с мест.

Не испугался только Йоста Берлинг. Громовым голосом возгласил он:

– А вот и тринадцатый! Пьем за тринадцатого!

Конечно, это он, враг рода человеческого, кто ж его не знает... Легкомысленные кавалеры нарушили мир и покой святого Рождества, накликали на свою беду непрошеного гостя. Конечно, это он, поделщик сонмища ведьм, неперемный участник их шабашей на горе Блокулла, это он подписывает свои договоры кровью на угольно-черной бумаге. Тот самый, что семь дней и ночей танцевал вальс с графиней в Иварнесе, и семь священников не в силах были изгнать его.

Кавалеры, замерев, смотрели и лихорадочно пытались сообразить: ради чьей души явился он в рождественскую ночь? Кое-кто готов был уже дать стрекача, но постепенно до них дошло, что на этот раз нечистый вовсе не собирается заманивать в свои силки заблудшие души, вовсе нет. Оказывается, он не мог противостоять соблазну выпить с кавалерами стаканчик-другой огненного пунша, послушать музыку и песни и поиграть в шилле. Ему надоело сутками напролет исполнять служебные обязанности и захотелось разделить со смертными их радость в святую ночь.

Ах, кавалеры, кавалеры... кто из вас помнит, что это за ночь? Ночь, когда ангелы поют в полях, когда дети боятся проспать светлую заутреню... Скоро уже пробьет час зажигать свечи в церкви, а в лесной хибаре юноша уже приготовил смоляной факел, чтобы освещать своей девушке путь в церковь. Хозяйки выставили в окна пирамидальные семисвечники, чтобы идущие в церковь прихожане могли полюбоваться на веселые огоньки. Пономарь повторяет псалмы, а старый прост⁷ проверяет голос – возраст уже не тот, не дай бог дать петуха. «Слава Го-о-споду нашему на небеса-ах, – повторяет он, напрягая диафрагму, – миру на земле слава, благим пожеланиям сла-ава...»

Ах, кавалеры, кавалеры! Лучше бы вам лежать в своих постелях, чем пировать с исчадием ада!

Но нет, не лежат кавалеры в своих постелях. Кавалеры пируют с исчадием ада.

Понемногу успокоились кавалеры, выпили, как предлагал Йоста, за здоровье тринадцатого, поднесли ему чарку с пылающим пуншем, освободили почетное место за столом. И странное дело... как же велико сатанинское очарование: уже казалось им, что в дьявольской роже, мерзкой харе сатира проступают черты их давних возлюбленных...

Беренкройц предложил партию в шилле, патрон Юлиус спел для него свои лучшие песни, а Эрнеклу затеял разговор о красивых женщинах, об этих прелестных созданиях, украшающих нашу жизнь. О чем же еще говорить с князем тьмы?

Дьявол явно наслаждался обществом – взгромоздился на облучок, аристократически небрежно откинулся на спинку, ослабил и, ухватив когтистой лапой чарку с пуншем, высоко поднял ее над головой.

И конечно, приветственную речь выпало говорить Йосте Берлингу – кому же еще, как не ему, предсказавшему явление нечистого духа.

– Ваша милость, – сказал он, и гулкое эхо его необыкновенного голоса тревожно и волнующе заметалось в притихшей кузнице. – Мы долго ждали вас в Экебю. Мы понимали, что визит ваш неизбежен. Ведь в любой другой рай дорога вам, прошу меня извинить, заказана. Но не в наш. Здесь мы живем, не утруждая себя ни севом, ни ткачеством, ни домашними обязан-

⁷ Прост – в шведской церкви почетный титул, который епископ присваивает наиболее заслуженным пасторам. Полный титул *prost honoris causa* (лат.).

ностями. Жареные голуби сами летят в рот, а горькое пиво и сладкий самогон черпаем мы из ручьев. Кому и оценить, как не вам, – превосходное местечко! И я уже сказал, ваша милость, мы, кавалеры, ждали вас давно. Потому что состав наш не полон. Только не подумайте, что перед вами двенадцать бездельников, готовых следовать за вами в ваши сомнительные чертоги. Нет, берите выше: мы – те самые двенадцать! Мы – те, что правили миром на прячущемся в вечных облаках Олимпе, мы – вся поэзия мира, мы – двенадцать птиц в вечнозеленой кроне Иггдрасиля⁸. Мы – вечные спутники поэзии, где бы она ни начинала вить свои изящные гнезда. Не двенадцать ли было нас за круглым столом короля Артура? Не двенадцать ли паладинов было при дворе Карла Великого? Один из нас был Туром, другой – Юпитером, и эта мерка нам по плечу и сегодня. Разве вы не угадываете золотые доспехи под лохмотьями? Разве вы не видите львов под ослиной шкурой? Время играет против нас, но, когда мы собираемся вместе, деревенская кузница превращается в Олимп, а флигель, в котором мы живем, – в Вальхаллу. Но, ваша милость, ряды наши неполны. Известно, что в бессмертной поэтической дюжине должен быть Локи⁹, должен быть Прометей. Его-то нам и недостает. Итак, добро пожаловать, ваша милость!

– Вот это да! Вот это речь! Слово к слову, хоть сейчас в учебник риторики! Жаль, нет времени ответить такой же прочувствованной речью... Дела, ребята, дела. Сейчас должен исчезнуть, но в дальнейшем – ого-го! Клянусь, в дальнейшем готов исполнить в ваших играх любую роль! Спасибо за вечерок, старые трепачи! Увидимся!

Посыпались вопросы – и куда это ваша милость так торопится?

Ответ последовал незамедлительно:

– Благородная майорша, хозяйка Экебю, ждет продления контракта.

Кавалеры онемели от удивления.

Их хозяйка? Суровая, трудолюбивая дама, майорша из Экебю? Ей ничего не стоит поднять бочку с зерном на плечи, она сама сопровождает фуры с рудой из Бергслагена, а оттуда до Экебю путь не ближний. Если придется, спит, как спят батраки, на полу в амбаре, головой на мешке вместо подушки. Зимой проверяет, не погас ли огонь у углежогов, летом провожает плоты по Лёвену. Ругается как сапожник, но без ее слова ничто и с места не сдвинется – ни на ее семи заводах, ни у соседей. Муж ее только и занимается своими ручными медведями. Все знают – она здесь главная. И в своем приходе, и в соседних, а уж если начистоту – во всем Вермланде. Но для своих бездомных кавалеров она как мать. Шли и раньше такие разговоры, мол, нечисто тут дело, уж больно она везучая, эта майорша, – они и слушать не желали. Их покровительница продала душу дьяволу? Смех, да и только.

Но услышать такое от самого нечистого?

Посыпались изумленные вопросы – какой еще контракт?

А он неторопливо и обстоятельно объясняет – да, было дело, он устроил майорше все ее семь заводов в обмен на обещание, что она каждый год будет посылать ему одну душу. Всего одну – не так уж много за семь заводов.

И козлоногий злорадно ухмыльнулся.

Сердца кавалеров похолодели от ужаса.

Только теперь сообразили они, что можно было и раньше догадаться.

Каждый год умирает один человек в Экебю, один из гостей флигеля кавалеров, один из веселых, беззаботных, вечно молодых. На что здесь жаловаться? Это в природе вещей. Кавалеры не имеют права стариться. Что за кавалер, который не может поднять бокал трясущимися руками? Который смотрит гаснущим взором на сдачу и сослепу кидает черву вместо пики? Это

⁸ Иггдрасиль – вселенское дерево в скандинавской мифологии, объединяющее все сферы мироздания. Как правило, его ветви соотносятся с небом, ствол – с земным миром, корни – с преисподней.

⁹ Локи – по одной из версий в скандинавской мифологии, бог огня.

уже не жизнь! Дневные бабочки живут, пока светит солнце, они не должны знать, что такое ночь, а когда им пробуют объяснить, они умирают.

Но только сейчас у кавалеров спала с глаз пелена – они поняли!

Будь проклята, женщина! Вот почему ты кормишь нас до отвала, вот почему не жалеешь ни горькое пиво, ни жгучесладкий самогон! Да потому, что мы прямо от буфета с напитками и ломберного столика должны провалиться в преисподнюю, в царство зла, в геенну огненную. Каждый год по одному.

Будь проклята, женщина, будь проклята, ведьма! Мы приходим в Экебю молодыми, полными сил, приходим в твой проклятый флигель – и что? Оказывается, мы приходим на заклятие, ты высасываешь из нас жизнь, как паук высасывает жизнь из запутавшихся в паутине мух. В грибы-сморчки обращаются наши мозги, в сухой прах обращаются наши легкие, а душам суждена вечная тьма, и лишь на смертном ложе сознаем мы, какой долгий путь нам предстоит – путь без надежды на спасение!

Будь проклята, женщина! Ты погубила лучших из лучших, а нам, занявшим их место, суждена та же участь.

Кавалеры стояли как парализованные, а тут словно очнулись.

– Ах ты, проклятый нечистый дух! – заорали они наперебой. – Не надейся – никакой контракт с этой ведьмой ты не продлишь. Она умрет. Смотри, Кристиан Берг, наш могучий капитан Кристиан Берг, уже забросил на плечо самую тяжелую кувалду, какая только нашлась в кузнице. Он размозжит этой колдунье голову в лепешку! Наши души она не получит.

– А тебя, адово отродье, пристроим на наковальню и запустим механический молот! Не удерешь – видишь щипцы у стены? Узнаешь, как охотиться за душами кавалеров!

Дьявол труслив, это известно всем, поэтому разговоры про кузнечный молот ему очень не понравились. Он ухватил за рукав капитана Кристиана Берга и начал торговаться.

– Давайте сделаем так, уважаемые кавалеры, – проблеял он. – Вы возьмете себе заводы, все семь, а майоршу отдайте мне.

– Думаешь, мы такие же мерзавцы, как она? Мы никого никому не отдаем. То есть заводы мы получить не прочь, а с майоршей разбирайся сам.

– А что скажет Йоста? – тихо спросил кроткий Лёвенборг. – Пусть Йоста Берлинг скажет. Решение непростое, надо и ему высказаться.

– Вы что, все с ума посходили? – сказал Йоста Берлинг, приходя в себя от изумления. – Кавалеры! Из вас делают идиотов! Что мы без майорши? Души... не знаю уж, что суждено нашим душам, но неужели вы хотите еще при жизни стать неблагодарными предателями и убийцами? Тогда-то уж точно души загубим. Что мы без майорши? Я, например, слишком много лет пользовался ее добротой, ел ее еду и пил ее вино, чтобы ее предать.

– Ну и направляйся к дьяволу, Йоста, если у тебя есть такое желание. А мы не намерены. Почему бы нам самим не управляться в Экебю?

– Не пойму, что с вами. Вроде и не так много выпили. Вы что, и в самом деле поверили? Поверили, что сам дьявол забежал к нам на огонек? Не понимаете, что ли? Все, что он вам наплел, мерзкая ложь и клевета!

– Видите? Видите? Видите? – забормотал нечистый. – Вот вам пример! Вот как далеко дело зашло! Этот парень прожил в Экебю семь лет, а ему и невдомек, куда держит путь... – Тут дьявол запнулся, но все же выговорил ненавистное слово, хотя и произнес его как бы в кавычках: – Куда держит путь его «бессмертная» душа! Берегись, парень! Ой, берегись! Я как-то раз, помнится, уже стоял с лопатой наготове, что подсобить тебе в печку. Да, Йоста Берлинг... упрям ты. Неплохо поработала с тобой майорша. Считай, ты уже наш.

– Она не поработала со мной, а спасла мне жизнь. Что бы со мной было, если бы не она?

– Ну-ну... не забывай, что в ее собственных интересах держать тебя в Экебю. Ты малый даровитый, многих можешь завлечь в ловушку. Она тебя держит как приманку. Помнишь,

как-то раз ты пытался улизнуть? И она подарила тебе хутор. Ты якобы собирался работать, зарабатывать себе на хлеб. И чем кончилось? Чуть не каждый день проходила она мимо, будто нечаянно, и каждый раз в компании красоток. Как-то в этой компании оказалась Марианна Синклер – и пошло-поехало. Ты забросил лопату подальше и вернулся в Экебю. Опять подался в кавалеры.

– «Чуть не каждый день», – передразнил Йоста. – Там же дорога проходит! Что ж ей, по пашням ковылять?

– Вот-вот... дорога рядом. А хутор твой случайно у самой дороги. А потом ты нанялся гувернером в Борг, к Хенрику Дона, и чуть не стал зятем графини Мэрти. И кто же все поручил? Разве не майорша сказала Эббе Дона, что ты лишенный сана пастор? И Эбба тебе отказала. Майорша, майорша... Ей надо было тебя вернуть.

– Ну и что? Эбба все равно вскоре умерла. Все равно она мне бы не досталась.

Нечистый дух подошел к нему поближе и наклонился чуть не к самому уху:

– Конечно, умерла. Из-за тебя и умерла. Руки на себя наложила. Разве тебе не говорили? Йоста вздрогнул.

– Да ты и в самом деле настоящий дьявол! – крикнул он, пришел в себя и засмеялся.

– Еще раз повторю – все это подстроила майорша.

– Силен, силен... А почему бы нам самим не подписать с тобой контракт? Кровью, разумеется... Подписали – и все семь заводов переходят к нам.

– Давно бы так... Своего счастья не понимаешь.

Притихшие кавалеры зашумели. Йоста был первым среди них, и слово его было решающим. Откажись он от сделки – и они бы не стали подписывать. А семь заводов – невиданный подарок судьбы для нищих, как церковные крысы, кавалеров.

– Но заруби себе на хвосте, – сказал Йоста, – мы принимаем от тебя эти семь заводов исключительно для спасения души. Мы не собираемся там хозяйничать, не собираемся пересчитывать доходы и взвешивать привезенную руду. Мы не собираемся превращаться ни в пергаментных желчных старцев, ни в туго набитые кошельки. Мы не собираемся делать ничего, что не пристало кавалерам. Мы остаемся кавалерами.

– Мудрые, мудрейшие слова, Йоста, – угодливо хихикнул дьявол.

– И вот тебе условие: ты передаешь нам эти заводы на год. Ровно на один год. И если за это время сделаем что-то не по-кавалерски, если совершим хоть один разумный, практичный или бабский поступок, забирай свои заводы назад. И наши души в придачу. Пусть другие пользуются этими чертовыми заводами.

Нечистый пришел в восторг от предложения: начал потирать лапы и блять что-то нечленораздельное.

– Но! – продолжил Йоста и предостерегающе поднял руку. – Но если мы выполним условие, если весь этот год останемся истинными кавалерами, дорога в Экебю тебе закрыта. Никаких контрактов и никакой компенсации за этот год ты не получишь. Ни от нас, ни от майорши.

– Вот ты чего захотел... Но, любезный Йоста, как-то не очень справедливо получается. Вам все, а мне ничего. Может, все-таки сойдемся на одной душонке? Одной-единственной? Майоршу-то я смогу заполучить, с чего бы это вам экономить на майорше?

– Я таким товаром не торгую, – ледяным голосом сказал Йоста, – но если ты и в самом деле нацелился на одну душу, могу предложить Синтрама из Форса. Он уже давно готов с тобой встретиться.

И они подписали контракт на заготовленной нечистым черной бумаге. Йоста Берлинг уколол мизинец, обмакнул протянутое дьяволом черное гусиное перо и поставил свою подпись кровью.

Кавалеры пришли в восторг. Целый год беспечальной жизни – такое только во сне может присниться. А потом как судьба рассудит. Они отодвинули то, что называли рыцарскими крес-

лами, и затеяли хоровод вокруг котла с пуншем. С ними плясал и нечистый, пока не обесси-
лел и не стал пить горящий пунш прямо из котла. Вслед за ним проделал то же самое Беренк-
ройц, потом Йоста Берлинг. А потом кавалеры улеглись на пол – в середине кузницы сиял, как
солнце, медный котел, а от него, как лучи от солнца, расходились тела кавалеров. То тот, то
другой время от времени делал большой глоток и подталкивал товарища. Наконец они опро-
кинули котел с горячим липким напитком, хохоча повскакали с пола и переглянулись.

Дьявола с ними уже не было – он незаметно исчез в момент наивысшего веселья. Но его
щедрые посулы словно остались висеть в воздухе прокопченной кузницы. Они освещали полу-
мрак, как бесценные королевские украшения, как нимбы над головами непутевых кавалеров.

Глава третья

Рождественский ужин

И конечно же в первый день Рождества майорша пригласила всех на традиционный парадный ужин в Экебю.

Хозяйка сидит во главе накрытого на пятьдесят персон стола. Тот, кто уже составил о ней представление как о грубоватой провинциальной помещице в нагольном полушубке и с трубкой в зубах, приятно ошибется. Не узнать майоршу. Она царит за столом, окруженная облаком палевого шифонового платья, на руках – тяжелые золотые кольца и браслеты, а белоснежную шею украшает ожерелье из крупного жемчуга.

А где же кавалеры, где они, кавалеры? Те, что валялись в кузнице на земляном полу и пили из начищенного медного котла за новых хозяев Экебю, ошарашенные неожиданно свалившимся на них богатством? Где они?

Да вот они – сидят у изразцовой печи. Места за общим столом не нашлось. Слуги приносят им блюда последним, вино подливают не слишком уж щедро, на них не смотрят красавицы, никому не интересны блестящие остроты Йосты Берлинга.

А им хоть бы что. Они смирны, как обьеженные жеребцы, как сытые львы. Всего лишь час оставила им ночь для тяжелого хмельного сна. Еще не рассвело, а уже потянулись они с факельным шествием к заутрене под серым от звезд небом. Увидели бесчисленные свечи, услышали рождественские псалмы – и заулыбались по-детски, и забыли ночь в кузнице, как забывают приснившийся кошмар.

Воистину могущественна майорша из Экебю! Никто не осмелится поднять на нее руку, ни у кого не повернется язык ей возразить. И уж конечно, не нищим кавалерам спорить с ней. Место за столом для них выбирает она, а может и вообще не пустить в обеденный зал – мало ли что взбредет ей в голову. Но без ее опеки они бы пропали. Наверное, на всей земле только одно место, где они могли существовать так, как повелевает их природа, и это место – Экебю. Господь да помилует их души, души поэтов, мечтателей и бездельников!

Весело, весело за главным столом! Сияют радостью прекрасные лучистые глаза Марианны Синклер, слышится тихий музыкальный смех графини Дона.

Но за столом кавалеров невесело. Они, которым суждено ради майоршиного богатства быть брошенными в преисподнюю, одному за другим, – неужели они не заслужили права сидеть за общим столом? Неужели они настолько жалки, что их стыдно посадить за стол с другими гостями?

Майорша сидит между простым из Бру и графом из Борга, и по всему видно, ей доставляет удовольствие их общество. Головы кавалеров склоняются все ниже и ниже, как у наказанных детей. И вновь отуманивают им разум и отягощают сердца полузабытые воспоминания этой ночи.

До их стола доносятся остроты и байки, которыми потчуют друг друга парадные гости, и вновь в души закрадывается ночная ярость. Да и хватит ли на их стол жареных рябчиков, которыми как раз в эту минуту слуги обносят гостей? Патрон Юлиус уверяет мрачнейшего с каждой минутой капитана Кристиана Берга, что птичек и на главный стол не хватит. Но это утешение не добавляет кавалерам бодрости.

– Я точно знаю, сколько рябчиков куплено, – говорит Юлиус. – Но нам-то что беспокоиться? К нашему столу она велела зажарить ворон.

Никто не засмеялся, разве что шевельнулись в кислой улыбке повисшие ватные усы полковника Беренкройца. У Йосты Берлинга такой вид, будто он размышляет, не убить ли ему кого-нибудь из гостей.

– Кавалерам и вороны сгодятся, – цедит он сквозь зубы.

Оказалось, опасения напрасны. На их стол тоже приносят полное блюдо роскошных золотистых рябчиков.

Но капитану Кристиану Бергу сама мысль о воронах показалась отвратительной. Он никого и ничего так не ненавидел, как ворон, этих каркающих и хлопающих крыльями вырожденцев птичьего царства.

По осени он даже наряжался в женское платье, наматывал на голову цветную тряпку и изображал пугало – пугало, которого боялись все птицы, кроме ворон. И все для того, чтобы под общие насмешки подкрасться к своим врагам, безмятежно клюющим зерно на пашне, поближе, на расстояние ружейного выстрела.

А весной, когда у ворон начинались любовные игры и они забывали об осторожности, капитан косил ненавистных птиц десятками. Летом отыскивал и разорял гнезда, разбивал яйца, швырял о скалы еще голеньких, с широко разинутыми клювами птенцов.

И он взорвался.

Вгляделся в блюдо с рябчиками и зарычал на слугу:

– Ты, значит, решил, что я их не узнаю? Только потому, что в жареном виде они не каркают? Какая подлость – предложить Кристиану Бергу жареную ворону! Какая подлость!

И он начал швырять рябчиков, одного за другим, в стенку изразцовой печи. Изуродованные тушки шмякались на пол под громовой хохот кавалеров, по изящным сине-белым изразцам бежали коричневые потеки брусничного соуса, которым так гордился майоршин повар-француз. Он даже никому рецепта не сообщал, а когда спрашивали, смешно сдвигал нос в одну сторону, глаза заводил в другую и отвечал: «Игра природных сил».

И тут до ушей капитана донесся зычный голос майорши:

– Выведите его!

Огромный капитан Кристиан Берг словно ослеп от гнева. Он повернулся к майорше, как медведь, только что задравший нападающую собаку, поворачивается к следующей жертве. Медленным, тяжелым шагом, от которого задрожали двухдюймовые доски дубового пола, двинулся он к подковообразному столу, где сидели гости.

– Выведите его немедленно! – еще раз прорычала майорша.

Легко сказать! Необъятная мускулистая туша, грозно нахмуренный лоб, сжатые кулаки величиной с дыню. Никто и не пошевелился – подойти к такому и то страшно, а уж об «вывести» не может быть и речи.

Кристиан Берг остановился напротив майорши и севшим от ярости голосом произнес:

– Я разбил ворону об стенку. Что я неправильно сделал?

– Оставь нас, капитан!

– А совесть у тебя есть? Я спрашиваю – совесть у тебя есть, женщина? Подать ворону капитану Бергу! Дьявол тебя возьми с твоими грязными семью заво...

– Тысяча чертей! В этом доме имею право сквернословить только я! Не смей! И вон отсюда!

– Думаешь, я тебя боюсь, старая ведьма? Думаешь, не знаю, как достались тебе твои семь заводов?

– Молчи, негодяй!

– Когда Альтрингер помер, он завещал эти заводы твоему мужу... все знают почему. Потому что ты была его любовницей!

– Замолчишь ты когда-нибудь?

– Потому что ты была такой верной женой, Маргарета Самселиус! А твой муж принял подарок, притворился, что ничего не знает... А всем этим рулил... всем этим рулил сама знаешь кто! Сатана всем рулил, вот кто! Тебе конец!

Майорша вздрогнула, побледнела и опустилась на стул.

– Да... ты прав, – подтвердила она тихим, странным голосом. – Теперь мне конец. И это твоя работа, Кристиан Берг.

Услышав эти слова, капитан Кристиан будто очнулся, по лицу пробежала судорога. У него перехватило дыхание, на глазах появились слезы.

– Я пьян! – воскликнул он. – Я сам не знаю, что наговорил! Ни черта я не говорил! Вы ничего не слышали! Пес и раб, раб и пес... вот кем я был для нее сорок лет. Маргарета Сельсинг! Я служил ей, как раб, как пес, всю мою жизнь! Что я могу сказать о ней плохого? Я – пес у ее дверей, раб, готовый на все, лишь бы жизнь ее стала легче. Она может бить меня, пинать ногами... ей можно все! Я люблю ее уже сорок лет! Как я могу сказать о ней что-то плохое?

Удивительное это зрелище – огромный, только что пылавший гневом капитан Кристиан падает на колени, ползет к майорше вокруг всего стола и вымаливает прощение. Целует край ее шелковой юбки, и по щекам его ручьями текут слезы.

А рядом с майоршей сидит невысокий, но крепко сложенный пожилой человек. Курчавые волосы, маленькие, косо посаженные глаза, выпирающая нижняя челюсть. Похож на медведя. Это майор Самселиус – немногословный, замкнутый человек. Долгие годы пробирался он по жизни одному ему известными путями, предоставив ежедневные заботы жене.

Выслушав признания капитана Кристиана, он поднимается со стула. Встают и майорша, и все пятьдесят гостей. Женщины плачут от страха, мужчины стоят как парализованные, а у ног майорши, целуя ее подол, громко рыдает Кристиан Берг. Представьте, только представьте эту сцену!

Широкая, поросшая волосами ладонь майора Самселиуса медленно сжалась в кулак.

Но майорша его опередила. Она заговорила – не так, как обычно, не звонким командным голосом, а глухо и презрительно.

– Ты похитил меня, – бросает она в лицо мужу. – Пришел, как грабитель, и похитил меня. Ты заставил меня побоями, принуждениями и руганью стать твоей женой. Ты получил то, что заслужил.

Майор Самселиус подался к ней со сжатыми кулаками. Она немного отступила и продолжала:

– Даже угорь извивается, когда его режут живьем, хочет ускользнуть. А куда ускользнуть жене от нелюбимого мужа? Только к любовнику. И ты хочешь сейчас отомстить мне за то, что произошло двадцать лет тому назад? Почему ты тогда меня не трогал? Помнишь, как мы жили в Шё, а он в Экебю? Он помогал нам в нашей нищете! Мы катались в его экипажах, пили его вино. Разве мы что-то от тебя скрывали? Или тогда не оттягивало тебе карман его золото? Не принял ли ты от него с благодарностью все семь заводов? Ты молчал и брал, брал и молчал... почему? Почему ты тогда не сжимал кулаки? Почему не бросался меня бить? Тогда, а не сейчас, двадцать лет спустя!

Майор обвел взглядом присутствующих и вдруг понял, что гости с ней согласны. Гости тоже так считают. Никто даже не сомневался, что дары и подношения были платой за его многолетнее молчание.

– Я этого не знал, – пробормотал он.

– Теперь знаешь. – В голосе ее зазвенел металл. – А я-то боялась, что так и умрешь, не узнав. Слава богу, теперь-то ты знаешь... И я могу говорить с тобой откровенно, с моим хозяином и тюремщиком. Так знай еще и то, что я все равно принадлежу ему! Тому, кому и была предназначена, тому, у кого ты меня похитил! И пусть об этом знают все, кто долгие годы шептался и сплетничал за моей спиной!

Ах, ничего нет на свете сильнее любви! Старая, но не умершая любовь звучит в ее голосе, любовью светятся ее прекрасные глаза. Перед ней стоит грозный муж со сжатыми кулаками, гости смотрят на нее со страхом и презрением. И она знает, что всему пришел конец – ее

богатству, славе, власти... Но ничто не в силах ее удержать. Ничто не силах помешать ей хотя бы на эти короткие мгновения, хотя бы на словах вернуть счастливейшие воспоминания всей ее жизни.

– Он был настоящий мужчина, добрый и щедрый. А кто ты, чтобы вставать между нами? Таких, как он, больше нет. И не будет. Он подарил мне богатство, он подарил мне счастье, он подарил мне любовь, да святится имя его!

И тут майор, который так и стоял с занесенным для удара кулаком, опустил руку. Он сообразил, как наказать неверную жену.

– Вон! – зарычал он. – Вон из моего дома!

Она замерла.

А побледневшие кавалеры уставились друг на друга. Вот так все и сбывается – все, что предсказал нечистый. Вот они, последствия непродленного контракта! И если это так, значит, дьявол не солгал: майорша и в самом деле больше двадцати лет отправляла их души в преисподнюю.

– Пошла отсюда! – не унимался майор. – Иди просить милостыню на дорогах! Не будет тебе счастья от его денег, не жить тебе в его имениях! Конец майорше из Экебю. И если посмеешь переступить мой порог, я тебя убью.

– Твой порог? Ты выгоняешь меня из моего дома?

– Это не твой дом, а мой! Экебю принадлежит мне!

Майорша заметно растерялась. Она пошла к дверям, а муж чуть не наступал ей на пятки. Внезапно она резко остановилась:

– Ты отравил всю мою жизнь! И ты считаешь, что в твоей власти взять и выгнать меня?

– Пошла, пошла! Вон!

Она остановилась на пороге, закрыла лицо руками и пробормотала: «Пусть все отрекутся от тебя, как ты отрекаешься от меня!.. Да станет дорога твоим домом, да будет клоч соломы твоей постелью»... Она внезапно поняла – сбывается проклятие матери.

Добродушный прост из Бру и судья из Мункерюда приобняли майора Самселиуса и начали его успокаивать – дескать, зачем беречь старые раны, что было, то быльем поросло, давняя история, надо уметь забывать и прощать.

Он стряхнул их руки с плеч. К нему было страшно подойти – точно как к капитану Кристиану несколько минут назад.

– Давняя история? – рявкнул он. – Давняя? Да я до сегодняшнего дня ничего знать не знал про эту давнюю историю! Знал бы – она давно получила свое, прелюбодейка!

Слово это подействовало на майоршу, как удар кнута.

Она вскинула голову и отошла от дверей:

– Сначала ты уйдешь, а не я! Думаешь, можешь мной командовать? Думаешь, я тебя боюсь?

Майор не ответил. Он следил за каждым ее движением, готовый в любую секунду броситься на нее и разорвать в клочки.

– Помогите мне, господа! Помогите связать и утихомирить этого сумасшедшего, пока он не придет в себя! Не забывайте, кто он и кто я! Подумайте хорошенько: разве я должна ему подчиняться? На мне все огромное хозяйство, а он целыми днями бездельничает, кормит своих медведей в медвежатнике, чтоб им пусто было. Друзья и соседи, помогите! Если меня здесь не будет, пиши пропало. Все же знают, чем крестьяне зарабатывают на жизнь. Рубят мой лес, вывозят мой чугуны. Углежогги продают мне уголь, плотогоны сплавляют бревна. Кузнецы, мастеровые, плотники – всем я даю работу. И вы всерьез считаете, что он может удержать все это на плаву? Говорю вам, не будет меня – начнется голод.

Гости закивали, опять чьи-то дружеские руки легли на плечи майора.

– Нет! – почти завизжал он. – Уходите! Кого вы защищаете? Прелюбодейку, клятвопреступницу! Говорю вам, если она не уйдет добровольно, я сам на руках оттащу ее на съедение моим медведям!

Поникли головы, опустились протянутые руки.

И тогда майорша прибегла к последнему средству:

– А вы, мои кавалеры, неужели вы позволите, чтобы меня выгнали из моего собственного дома? Не я ли вытаскивала вас, замерзающих, из сугробов в лютую зимнюю стужу? Или, может, когда-нибудь отказала я вам в кружке горького пива и жгучего самогона? Или требовала от вас денег за пропитание и жилье? Не жались ли вы к моим ногам, как дети льнут к матери? Может быть, вы не танцевали в моих залах? Не проводили дни напролет в безделье и развлечениях? Неужели вы позволите этому человеку, проклятию всей моей жизни, выгнать меня из моего же дома, который никогда бы ему не достался, если бы не я? Неужели вы позволите мне просить милостыню на дорогах?

Пока она говорила, Йоста Берлинг незаметно подошел к красивой темноволосой девушке за столом.

– Ты часто бывала в Бorge пять лет назад, Анна, – тихо сказал он. – А ты знаешь, что именно майорша насплетничала Эббе Дона, что я разжалованный пастор?

– Помоги ей, Йоста! – только и смогла выговорить девушка.

– Сначала я хочу знать, правда ли, что по ее милости я стал убийцей.

– Что за мысли, Йоста? Ты же видишь, что происходит. Ей надо помочь.

– Я вижу только, что ты не хочешь отвечать... значит, Синтрам сказал правду.

И Йоста молча вернулся к столу кавалеров.

Нет, не вступился Йоста за майоршу. Не пошевелил пальцем, не сказал ни слова в ее защиту.

О, если бы майорша не посадила кавалеров за отдельный стол у изразцовой печи... если бы не дала им понять, что они здесь люди второго сорта! И не вспомнили бы они о ночных подозрениях – мало ли что привидится спяну. И не искажены бы были их лица гневом и обидой, ничуть не меньшими, чем гнев и обида обманутого майора. Они тоже чувствовали себя обманутыми и оскорбленными.

Ни следа сострадания в словно окаменевших лицах дюжины кавалеров, поднявшихся с места и стоящих неподвижно вокруг своего унижительного стола.

Разве все, что происходит, не подтверждение пророчеств мохнатого дьявола?

– Контракт не продлен. Вот и результат, – прошептал один.

– Ступай в ад, ведьма! – взвизгнул другой.

– Если бы не муж, мы бы сами тебя погнали!

– Болваны! – попытался урезонить кавалеров старый Эберхард. – Вы что, не соображаете, что это проделки Синтрама? Что это был Синтрам, а никакой не дьявол?

– Понимаем, понимаем, – возразил Юлиус, – и что? Почему это не может быть правдой? Все знают, что Синтрам на побегушках у нечистого.

– Тогда иди, Эберхард, и заступись за нее! – издевательски произнес кто-то. – Ты же не веришь в ад, чего тебе бояться!

А Йоста Берлинг стоял неподвижно, не сказал ни слова.

Нет, и от этих насмешливых, задиристых, легкомысленных обитателей флигеля помощи майорше не дожидаться.

И она поворачивается к дверям, сцепляет руки, как в молитве, и еще раз, на этот раз громко и отчетливо, повторяет проклятие матери:

– Пусть все отрекутся от тебя, как ты отреклась от меня! Да станет дорога твоим домом, да будет клоч соломы твоей постелью...

Она берется за дверную ручку, но медлит. Воздев вторую руку, как для проклятия, майорша громко и торжественно произносит:

– Но помните, вы, все, кто обрек меня на изгнание! Помните, что придет ваше время. Вы разойдетесь в разные стороны, никто вас не будет здесь держать. И как вы устоите на ногах без такой подпорки, как я? Ты, Мельхиор Синклер, рука у тебя тяжелая, я знаю, что ты поколачиваешь жену, берегись! Ты, пастор из Брубю, помни: скоро грянет приговор. Ты, капитанша Уггла, присматривай за своим домом, нищета уже постучалась в твою дверь! А вы, молодые красавицы... Элизабет Дона, Марианна Синклер, Анна Шернхёк, кому-то из вас тоже придется бродить по дорогам в одиночестве и спать на соломе. А вы, кавалеры, берегитесь! Грянет шторм, и вас сметет с лица земли, как ненужный мусор. Ваши дни сочтены. Теперь они и в самом деле сочтены. Я не жалею о своей судьбе, но мне жаль вас... разразится буря, и кто из вас устоит, если я упаду? Сердце мое разрывается от жалости к бедному люду. Кто даст им работу, когда меня не будет?

Она уже почти открыла дверь, но ее остановил возглас:

– Подожди!

Капитан Кристиан Берг, до этого лежавший неподвижно у майоршина стула и за все время не сказавший ни слова, поднялся на ноги.

– И сколько мне валяться у твоих ног, Маргарета Сельсинг? Прости меня, и я готов сражаться за тебя хоть с самым дьяволом!

Майорша замирает на месте. Видно, какая тяжкая внутренняя борьба происходит в ее душе. Но она понимает: если она простит его, если позволит ему вступить в поединок с ее мужем, то глупый великан, преданно любивший ее сорок лет, станет еще и убийцей. Этого она допустить не может.

– Я же должна и прощать? – сухо и спокойно произносит она. – Тебя? Тебя, из-за которого я должна покинуть свой дом? Садись на место, Кристиан Берг, и радуйся делу своих рук. Ты сделал все что мог.

И она ушла. И закрыла за собой дверь, оставив в зале тягостную, ничего хорошего не предвещающую тишину. Она проиграла, но даже в унижении была величественна и прекрасна. Не просила, не умоляла, не выказала ни малейшего признака слабости. До старости помнила она пронесенную через всю жизнь любовь и не изменила ей даже в роковую минуту. Не унизилась до плача, глаза ее были сухи и горели странным огнем, будто и не страшилась она нищенского посоха и сумы. И ни о чем не пожалела. Жаль ей было только бедных крестьян и мастеровых. И, конечно, двенадцать беспутных кавалеров, тех, кому она помогла подняться на ноги и защищала от ударов судьбы.

Все ее предали, но она нашла в себе мужество, чтобы удержать своего последнего друга и поклонника от гибельного шага. От убийства.

Удивительная женщина. Такие редко появляются на белый свет, и никто не знает, появится ли когда-нибудь подобная.

На следующий день майор заколотил двери и переехал в собственное поместье в Шё, рядом с самым большим из их заводов.

В завещании Альтрингера, благодаря которому майор получил все заводы, было ясно и четко указано, что ни один из них не может быть продан или подарен, а после смерти майора все имущество переходит к его жене и потомству. Полный бессильной злобы, что не может избавиться от ненавистного наследства, он принял решение: поставить управлять всеми своими заводами майоршинных кавалеров. Посчитал, что большего вреда наследству Альтрингера нанести невозможно.

А кавалеры? Они поверили, что злобный Синтрам и в самом деле на побегушках у врага рода человеческого. Все, что напроорочил он ночью в кузнице, сбылось с необыкновенной точностью. Что ж, и кавалерам надо соблюдать договор – в течение года они не должны совершить

ни единого разумного или полезного поступка. Никто из них даже не сомневался, что майорша и в самом деле злобная ведьма, вознамерившаяся погубить их бессмертные души.

И только старый Эберхард, философ, подсмеивался над их дурацкой, как он ее называл на своем философском языке, верой в злого духа. Но кто его слушал, старого скептика, настолько упрямого в своем неверии, что, если бы его привели в преисподнюю и показали сонмища ухмыляющихся бесов, он все равно утверждал бы, что они не существуют, потому что не должны существовать и не могут существовать. Именно поэтому дядюшка Эберхард и был великим философом.

А Йоста Берлинг помалкивал. Ни с кем не поделился, не сказал, что он думает о всей этой истории. Нельзя сказать, чтобы он таял от благодарности к майорше за то, что она привела его в Экебю и сделала кавалером. Иной раз приходило в голову, что ему следовало бы умереть в далеких лесах, как он жаждал когда-то. Это наверняка было бы лучше, чем чувство непреходящей жгучей вины в самоубийстве Эббы Дона. Он не кинул в майоршу свой камень, но и пальцем не пошевелил, чтобы ей помочь. Не смог себя заставить.

А для кавалеров настала веселая жизнь. Они купались в почестях и богатстве. Рождественские праздники прошли в непрерывных пирах. Йоста Берлинг ни с кем не делился горем, тяготившим его сердце, а по лицу его прочесть что-либо невозможно.

Глава четвертая Йоста Берлинг, поэт

Рождественские праздники продолжались, на этот раз бал давали в Борге.

В те времена в Борге жили молодой граф Дона с красавицей женой. Поженились они совсем недавно, и все надеялись, что не прошли еще у графа первые восторги и бал должен получиться веселым.

И в Экебю пришло приглашение, но так вышло, что захотел поехать только один – Йоста Берлинг. Тот самый Йоста Берлинг, которого друзья называли поэтом.

И Борг и Экебю построены на берегу, только с разных сторон озера Лёвен, поэтому относятся к разным приходам. Борг принадлежит приходу Свартшё, а Экебю – приходу Бру.

По прямой довольно близко, но когда, навигация закрыта, а лед еще не встал, приходится добираться вокруг озера, Кавалеры порылись в сундуках и принарядили неимущего Йосту Берлинга, как принца, – не посрами, Йоста, честь кавалерства!

Новый фрак с серебряными блестящими пуговицами, накрахмаленное жабо, лакированные сверкающие ботинки. Ботинки особо заботили кавалеров: они качали головами, рассматривали их чуть не в лупу и снимали невидимые пылинки. На плечи накинули бобровую шубу. Мало того, в беговые сани кинули новую медвежью полость с устрашающими когтями на лапах и запрягли не кого-нибудь, а самого Дон Жуана, красавца жеребца, гордость майоршиной конюшни.

Йоста Берлинг легко вспрыгнул на санки, уверенно взялся за плетеные вожжи и свистнул Танкреда¹⁰. Молодым и непобедимым чувствовал он себя, а блестящие и шелковые на лоснящейся черной шкуре Дон Жуана словно подчеркивали окружающие его богатство и роскошь.

Выехал Йоста довольно рано. Было воскресенье, и, проезжая, он слышал пение псалмов в церкви Бру. Дальше узкая дорога вела через лесок в Бергу, в дом капитана Угглы. Там он намеревался отобедать.

Бергу никак не назовешь богатым поместьем. Мало того, нужда не раз прокладывала тропу к крытой торфом усадьбе. Но встретили Йосту с расprostертыми объятиями, с песнями и шутками. Ему были рады, ему, как и остальным. Впрочем, нужда – такой же гость, а гостям в доме капитана Угглы рады всегда.

Старая домоправительница Ульрика Дильнер, на которой лежало все хозяйство в усадьбе, выбежала на крыльцо и сделала такой глубокий книксен, что Йоста даже испугался, как бы она не упала. На ее морщинистых, с вечным загаром щеках кокетливо затряслись накладные кудельки.

Она проводила Йосту в зал и начала без передышки рассказывать, как неустойчива и переменчива жизнь в усадьбе.

Беда у дверей, горько поведала она. Тяжелые времена. Даже хрена не нашлось к солонине! Сами подумайте: Фердинанд запряг Дису и поехал одалживать хрен в Мункерюд!

А сам капитан на охоте, принесет какого-нибудь тощего зайца, в него масла столько вбухаешь, сколько сам заяц не стоит. Но капитан горд несусветно – я, дескать, обеспечиваю хозяйство мясом! А то, не к ночи будь сказано, лису притащит – дурнее зверя Господь наш не создал, проку никакого, что от живой, что от дохлой.

А капитанша... спит пока, еще не проснулась. Полночи романы читала. Не создана она для работы, божий ангел.

¹⁰ Танкред – пес Йосты, назван в честь одного из рыцарей из поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим».

Нет, не создана... только седая старуха Ульрика Дильнер с утра до ночи на ногах, хлопочет, пытается хоть как-то свести концы с концами. А не легко это, уж поверьте мне, дружок, ох, не легко... всю зиму на одной медвежатине. И жалованья ей не платят, старой Ульрике. Спасибо, на дорогу не выбросили, а ведь и выбросят, как увидят, что проку от нее мало. Нет-нет, это уж я так, хозяева хорошие, за человека ее считают, старую вешалку, глядишь, и похоронят по-человечески. Если, конечно, денег на гроб наскребут.

– А кто знает, как дело обернется? – воскликнула она неожиданно звонким, молодым голосом и вытерла легко набежавшую слезу. – По уши в долгу у этого негодяя, заводчика Синтрама, не к ночи будь сказано, а он ведь может не только меня, а всю семью разорить и выгнать на улицу. Хорошо хоть Фердинанд помолвлен с богатенькой Анной Шернхёк, но мне-то мнится, не к ночи будь сказано, надоел он ей.

– Что ты, Ульрика, все «к ночи» да «к ночи»? Утро на дворе! – улыбнулся Йоста.

– Поговорка такая... И что с нами будет? С тремя-то коровами да девятью лошадами? А с девицами нашими веселыми? Им бы только с бала на бал порхать. С нашими сухими пашнями, где ничего не растет, с Фердинандом? Добрый мальчик, только пора бы и мужчиной стать. Что-то будет с этим домом, с этими замечательными людьми, храни их Бог? Ничего не хочу сказать, хорошие люди, все их любят, и они всех любят. Всех любят, все любят... лишь бы не работать.

Постепенно стал собираться народ. Появился добродушный Фердинанд – ему удалось-таки занять хрен в Мункерюде. Веселой стайкой выпорхнули дочери, вернулся и сам капитан, розовый и возбужденный после охоты и купания в проруби. Он распахнул настежь окно – видно, после леса ему не хватало воздуха – и встретил Йосту крепким мужским рукопожатием. И последней явилась капитанша в пеньюаре. Она протянула Йосте Берлингу руку для поцелуя, и кружевной рукав соскользнул чуть не до плеча.

Настроение у всех было приподнятое. А какое может быть настроение в солнечное зимнее утро? Шутки, смех.

– Как вы там, в Экебю... в земле обетованной?

– Молочные реки, кисельные берега, – в тон ответил Йоста. – Освобождаем горы от лишнего железа и наполняем винные погреба. Вырубаем лес и строим кегельбаны и беседки. Ждем, когда пожелтеют поля – будет чем позолотить нашу жизнь.

Капитанша улыбнулась, но тут же вздохнула и произнесла одно-единственное слово:

– Поэт!

– Во многих грехах повинен, – сказал Йоста с притворной серьезностью, – но этим никогда не грешил. У меня за душой нет ни единой поэтической строки.

– Все равно вы поэт, Йоста Берлинг. Придется вам примириться с этим званием. Вы пережили больше поэм, чем написал иной плодовитый стихотворец...

И она начала пространно говорить о его растраченной жизни, о том, как плохо он располагается данными ему Богом дарованиями. Странно, но Йосту это почему-то не раздражало – настолько мягки и ласковы были ее почти материнские интонации, настолько его тронуло, что эта добрая, мечтательная женщина так искренне заботится о его судьбе. Мало того, она ждет от него великих подвигов.

– Я должна дожить до того дня, когда вы станете настоящим мужчиной, Йоста Берлинг.

За едой было весело и уютно. Мясо с хреном, капустой и обжаренными во фритюре вафлями, рождественское темное пиво. Йоста начал рассказывать о майоре, майорше и пасторе из Бру; слушатели то умирали со смеху, то на глазах у них появлялись слезы.

И в этот миг со двора донесся звон бубенцов, раздались крики, и в дом ввалился Синтрам.

Он прямо лучился от радости – весь, от лысой головы до ступней, – размахивал руками и строил гримасы.

– А слышали? Помолвка! Нынче в церкви Свартшё первое оглашение¹¹! Анна Шернхёк выходит замуж за богатея Дальберга! Должно быть, бедняжка позабыла, что помолвлена с Фердинандом... Ну и память у молодых...

Разумеется, никто ничего не слышал. Удивление очень быстро сменилось отчаянием.

Надежды рухнули. Теперь им точно придется продавать имение, чтобы расплатиться с этим злым уродом Синтрамом. Продать любимых коней... прощай, роскошная густавианская мебель, капитаншино приданое, прощай, веселая жизнь с пирушками и балами. Вновь медвежатица, а молодым придется искать работу на стороне, наниматься дворцовыми и гувернантками.

Капитанша обняла сына и стала его утешать – женщины ветрены, но материнская любовь вечна и неизменна.

Но не забывайте! С ними был Йоста Берлинг, непобедимый Йоста Берлинг, поэт Йоста Берлинг! И в голове поэта Йосты Берлинга уже роился десяток планов.

– Рано падать духом! – воскликнул он. – Послушайте, всю эту комедию затеяла пасторша из Свартшё. Она имеет на Анну влияние, особенно теперь, когда Анна живет у нее в усадьбе. Это она уговорила Анну оставить Фердинанда ради старика Дальберга... но еще ничего не потеряно! Они пока не обручены, и надеюсь, не будут. Я сейчас же еду в Борг и найду Анну. Поговорю с ней, рассею это наваждение! Она во власти пасторши... я привезу ее сюда, и старому Дальбергу не видать ее как своих ушей.

Йоста собрался в путь. Ему наперебой желали удачи, а барышни даже напрашивались ехать с ним, но он отшутился. А Синтрам, предвкушающий, как утрут нос Дальбергу, остался в Борге дожидаться, пока Йоста привезет сбежавшую невесту. Он даже навязал Йосте зеленый дорожный кушак, подарок экономки Ульрики. Та, должно быть, всеми силами старалась улестить опасного кредитора.

А капитанша принесла три небольшие книжки, перевязанные красной ленточкой.

– Возьми, – сказала она. – Пусть, если у нас все развалится, останутся у тебя. Это «Коринна» мадам де Сталь. Не хочу, чтоб ее продали с молотка.

– Неудача исключена, – заверил ее Йоста.

– Ах, Йоста, Йоста... – Она провела ладонью по его русой голове. – Никого нет сильнее тебя, но и слабее не найти. На сколько тебя хватит? Как долго будешь ты помнить, что в твоих руках судьба целой семьи? Час? Два? Семьи, которую ты можешь спасти от разорения...

И вновь Йоста Берлинг на заснеженной дороге, вновь сидит он, укрытый медвежьей полостью, в легких беговых санках, с Дон Жуаном в упряжке и неутомимым псом Танкредом. Танкред, не отставая, но и не забегая вперед, весело косит на хозяина карим глазом.

Предвкушение приключения занимает душу нашего героя, он чувствует себя грозным соблазнителем, рыцарем, Дон Жуаном, похитителем невест.

И вот наконец пасторская усадьба в Свартшё.

Йоста спрыгивает с санок и идет в дом. Не хочет ли Анна, чтобы он подбросил ее на бал? Что за вопрос – конечно, хочет! Кто не хочет прокатиться в легких, элегантных беговых санках, да еще запряженных самим Дон Жуаном?

Долго ехали, не говоря ни слова. Прервала молчание Анна.

– А слышал ли Йоста, что говорил сегодня пастор? – спросила она с вызовом.

– И что он сказал? Что ты самая красивая девушка между Лёвеном и Кларэльвом?

– Йоста Берлинг сморозил глупость, как всегда. Пастор огласил мою помолвку с Дальбергом. Все уже знают.

– Не может быть! Если бы я знал, ни за что не предложил бы подвезти.

¹¹ По обычаю проводилось три оглашения предстоящей свадьбы с интервалом в неделю, на случай возникновения возможных препятствий для брака.

– Добралась бы как-нибудь и без Йосты Берлинга, – гордо ответила девушка.

– Что-то с тобой не так, – задумчиво произнес Йоста. – Я понимаю, нелегко это – девушке остаться сиротой. Кажется, весь мир против тебя. Вот ты и стала такой – лишь бы разозлить кого-нибудь. Никогда не знаешь, чего от тебя ждать.

– Жаль, ты все это сразу не сказал. Ни за что бы с тобой не поехала.

– И пасторша наверняка так подумала: тебе нужен кто-то, кто заменил бы отца. Иначе ни за что не посоветовала бы тебе выходить за эту развалину.

– Это вовсе не пасторша решала.

– Что? Значит, ты сама выбрала такого блестящего жениха?

– Он, по крайней мере, женится на мне не ради денег.

– Нет, конечно... стариков, как известно, интересуют только розовые щечки да голубые глазки... он просто изнемогает от нежности и желания.

– Йоста! Как тебе не стыдно!

– Только помни: играм и развлечениям конец пришел. Будешь сидеть на диване или ставить мужу примочки. Впрочем, зря это я. Глядишь, научит тебя в виру играть.

Она не сказала ни слова, пока Дон Жуан преодолевал довольно крутой подъем в Борг.

– Спасибо, что подвез! Думаю, не скоро решусь я с тобой прокатиться, Йоста Берлинг!

– Вот и правильно! Только не пожалей... Теперь-то, я думаю, мало найдется желающих с тобой прокатиться.

Анна, все еще в ярости от разговора, вошла в зал и надменно оглядела собравшихся. И надо же, первым, кого она увидела, был ее жених – маленький, лысый Дальберг. И стоял он рядом с элегантным, высоким, русоволосым Йостой Берлингом. У нее на секунду возникло желание вытолкать из зала обоих.

Жених подошел пригласить на танец, но она окинула его презрительным взглядом:

– Вы собрались танцевать? Вы же не танцуете!

Подбежали подружки – поздравить с помолвкой.

– Не валяйте дурака, девушки, – раздраженно прошипела Анна. – Не думаете ли вы, что я выхожу замуж по любви? Но Дальберг богат, и я богата, так что друг другу мы подходим.

За девушками последовали дамы – пожать руку и пожелать счастья.

– Поздравляйте пасторшу! – огрызнулась Анна. – Она рада куда больше меня.

И покосилась на Йосту Берлинга – его окружили гости, каждое его слово в сопровождении ослепительной белозубой улыбки встречали смехом и чуть не аплодисментами. Его речи заставляли забывать о прозе жизни, они ложились, как золотая пыльца ложится на серую холстину, превращая ее в драгоценную, сверкающую ткань. Никогда она не видела его таким. Он, оказывается, вовсе не изгой, не один из никчемных приживалов майорши, не бездомный паяц, нет, он выглядел среди других мужчин как настоящий король. Он и был королем этого бала.

А ее не пригласил ни один человек. Они что, все в заговоре против нее? Наверняка их подговаривает этот хлыщ, Йоста Берлинг! Хочет дать ей понять, какую глупость она делает, отдавая свое прекрасное тело и свои богатства этому сморчку Дальбергу... Десять танцев она простояла у стены, и ни один, ни один даже не подошел к ней!

Она кипела от гнева.

На одиннадцатый танец, мазурку, ее пригласил самый ничтожный из гостей, который, как и она, весь вечер подпирал стену.

Она покачала головой и ядовито спросила:

– Неужели весь хлеб съеден? Пора переходить на сухари?

Начали играть в фанты. Несколько девушек пошептались, встав в круг и склонив друг к другу светлокудрые головки, и присудили Анне поцеловать того, кто ей милее всех на этом балу. Они поочередно прыскали в рукав – должно быть, ожидали, что она выберет старика Дальберга.

Анна встала, еле удерживая слезы, и произнесла сквозь зубы:

– А можно я вместо поцелуя дам оплеуху? Но не тому, кто всех милее, а тому, кто всех мерзее?

И не успели девушки пикнуть, как щека Йосты Берлинга уже горела от полновесной пощечины, которую ему влепила строптивая и гордая Анна Шернхёк.

Он покраснел как рак, но взял себя в руки, схватил ее за запястье и тихо сказал:

– Жду тебя через полчаса в красной гостиной!

Анна оцепенела. Из его голубых глаз лилось такое упоительное сияние, такая колдовская сила, что она не могла выдать ни слова. Сама не понимая почему, молча кивнула головой.

Но там, внизу, колдовство прошло. Встретила его холодно и надменно:

– Хотела бы я узнать, что за дело Йосте Берлингу до моего замужества?

Йоста уже приготовил убедительную речь, но спохватился – ему показалось, что сейчас разговор о Фердинанде не уместен. Можно все испортить. Анна, чего доброго, решит, что его наняли сватом. Поэтому он решил продолжать свою линию:

– Не думаю, что это такой уж тяжкий штраф за нарушенные обещания и даже клятвы – пропустить десять танцев. Другой на моем месте придумал бы что-нибудь похлеще.

– Какое тебе дело? Оставьте меня в покое! Вы все ухлестываете за мной ради денег... проклятые деньги! В один прекрасный день я побросаю их в Лёвен и буду смотреть, как вы за ними ныряете. Боюсь, передеретесь.

На слове «передеретесь» голос ее сорвался, она отвернулась, закрыла лицо руками и заплакала от незаслуженного унижения.

И сердце поэта дрогнуло. Ему вдруг стало стыдно – зачем он был так суров?

– Девочка моя, девочка, прости меня! Прости бедного Йосту Берлинга. Я ничтожный человек. Я никому не интересен. Ты же знаешь... всем наплевать, что я говорю, что я делаю, мои слова волнуют людей не больше, чем комариный укус. А я всего-то не хотел, чтобы самая красивая, самая богатая девушка в уезде отдала себя такому старику. Хотел уговорить, а вместо этого обидел и огорчил...

Он сел рядом на козетку и нежно положил руку на талию.

Анна не отстранилась. Она прижалась к Йосте, обхватила за шею и положила голову ему на плечо.

Ах, поэты, поэты... нет никого среди рода человеческого, кто сравнялся бы с вами силой, но и слабость ваша не имеет границ!

– Если бы я знала, – прошептала она, – если бы я только знала, никогда не дала бы согласия Дальбергу. Если бы я знала... я смотрела на тебя весь вечер... Йоста, они все ничтожества рядом с тобой.

– Фердинанд... – побледневшими губами прошептал Йоста Берлинг.

Она запечатала ему рот поцелуем.

– Ничтожество. По сравнению с тобой – ничтожество. Таких, как ты, больше нет. Тебе я буду верна по гроб.

– Я – Йоста Берлинг, – мрачно сказал он. – За меня ты не можешь выйти замуж. Я – никто.

– Ты – тот, кого я люблю. Лучший из мужчин. Тебе и не надо быть кем-то. Ты рожден королем.

И при этих словах кровь бросилась поэту в голову. Ее слова были полны такой нежности и ласки, что он забыл обо всем.

– Если хочешь быть моей, ты не можешь оставаться у пасторши. Я сейчас же, ночью, отвезу тебя в Экебю! Там я смогу быть тебе защитой и опорой, пока мы не отпразднуем свадьбу.

О, надо было видеть это ночное путешествие! Оглушенные зовом любви и ослепленные ее блеском, они мчались сквозь морозную, не знающую конца и края ночь. Дон Жуан нес их, пофыркивая от передавшегося ему возбуждения седоков, а скрип полозьев напоминал жалобу

обманутых ими претендентов на ее руку. Какое им дело? Она не разжимала объятий, а он шептал ей в ухо:

– Нет ничего слаще ворованного счастья!

Помолвка... что им до помолвки? Что еще за помолвка, когда вспыхнуло пламя истинной любви? А людской суд? Йоста Берлинг верил в судьбу. Судьба – высший суд. И судьба распорядилась именно так, а с судьбой не поспоришь. И даже если бы звезды в огромном ночном небе оборотились зажженными канделябрами, а колокольчики на шее Дон Жуана – церковными колоколами, созывающими прихожан на свадьбу Анны Шернхёк со стариком Дальбергом, ничего бы не изменилось. Судьба повелела ей бежать с Йостой Берлингом.

Такова сила судьбы.

Они уже миновали пасторскую усадьбу и Мункерюд. Оставалось всего полмили¹² до Берги и еще полмили до Экебю. Дорога петляла по опушке леса. Направо неясным силуэтом громоздились скалы, налево – бескрайняя, серебристо отсвечивающая в лунном свете долина с наделами арендаторов, огороженными низкими, едва заметными под снегом заборчиками.

Танкред стелился в беге так, что иногда казалось, будто он лежит на снегу и неведомая сила влечет его вперед. Но вдруг он прижал уши, заскулил, одним прыжком запрыгнул в сани и оказался в ногах Анны Шернхёк.

Дон Жуан вздрогнул и резко прибавил ходу.

– Волки! – крикнул Йоста Берлинг.

Они увидели серую подвижную линию, похожую на набегающую волну в спокойном море. Волков было не меньше дюжины.

А Анна, как ни странно, не испугалась. День был настолько полон событиями, что появление волков ее не удивило – подумаешь, еще одно препятствие на пути к счастью. Это была настоящая жизнь – мчаться с любимым по искрящемуся под лунной снегу, назло людям и ночным хищникам! Она громко засмеялась.

– Ты боишься? – крикнула она Йосте, перекрывая шум ветра и скрип полозьев. – Посмотри, они даже не гонятся за нами!

– Они бегут наперерез! Они настигнут нас там, на повороте.

Дон Жуан все прибавлял шагу, соревнуясь с лесными разбойниками, а Танкред непрерывно скулил от бессилия и страха.

У поворота волки и в самом деле поравнялись с санями, но Йосте удалось отогнать вожака кнутом.

– Ах, Дон Жуан, мальчик мой... ты бы легко ушел от волков, если бы не мы, люди...

Он развязал подаренный Синтрамом зеленый кушак и замахал им в воздухе. Волки ненадолго отстали, испугались, но потом преодолели страх и вновь пустились в погоню. Они были уже совсем рядом с санями, уже можно было разглядеть разинутые пасти с высунутыми языками, то и дело вспыхивающие белыми слепыми огоньками глаза.

И тогда Йоста схватил подарок капитанши – перевязанную ленточкой «Коринну» мадам де Сталь и швырнул в пасть вожаку.

Опять небольшая передышка, но хищникам понадобилось несколько секунд, чтобы растерзать в клочки знаменитый роман. Они вновь догнали санки, и седоки вновь слышали их запаленное дыхание, вновь чувствовали легкие толчки, когда они пытались ухватиться зубами за зеленый кушак Синтрама.

Йоста понимал, что Дон Жуан скоро выдохнется, что здесь нет ни одной усадьбы, кроме Берги, ни одной деревни. Если они не свернут в Бергу, гибель неминуема. Но возвращаться к людям, которых он так жестоко обманул, казалось Йосте еще страшнее смерти. Может, это и есть его судьба – гибель в далеких лесах? Но при чем тут Анна?

¹² Шведская миля – 10 километров.

Они уже видели усадьбу капитана Угглы на опушке. В окнах горел свет – и Йоста понимал, для кого он горит.

А волки, приметив человеческое жилье, ретировались – исчезли, словно их и не было.

Санки пронеслись мимо Берги. На опушке, там, где дорога вновь уходила в лес, Йоста натянул вожжи, и Дон Жуан остановился как вкопанный. В чаще блеснули волчьи глаза. Хищники их уже поджидали.

– Повернем назад, скажем пасторше, что решили покататься при луне.

Они повернули, но какое там! Уже через несколько минут волки начали вновь сжимать кольцо, мелькали совсем близко, как серые призраки, молча. Лишь изредка какой-нибудь новичок в стае издавал короткий голодный вой. Стоит отъехать хоть на десяток саженей, и они обречены – острые клыки вонзятся в незащищенную человеческую плоть. Отдаленный свет в усадьбе волков уже не пугал. Они осадили Дон Жуана и прыгали, извиваясь в воздухе и стараясь ухватить коня за горло.

Анна замерла. Ей пришла в голову дикая мысль – а что, если волки сожрут их без остатка, а что, если никто и никогда не узнает, что с ними случилось? Или все же останутся какие-то ошметки на окровавленном снегу?

– Дело жизни и смерти! – крикнула она, нагнулась, схватила Танкреда и хотела швырнуть собаку волкам.

– Оставь его! – рявкнул Йоста. – Это ничего не даст. Им не собака нужна, а мы. – И он хлестнул коня.

Слава богу, все обошлось – через несколько минут сани въехали во двор усадьбы капитана Угглы. Волки преследовали их чуть не до крыльца, так что Йосте пришлось отгонять их кнутом.

Он остановился на крыльце и повернулся к девушке.

– Анна, – медленно и серьезно сказал он. – Бог не хочет этого. И если ты и в самом деле та, за кого я тебя принимаю, у тебя хватит сил держать язык за зубами.

В доме услышали звон колокольчиков, и почти все обитатели выскочили на крыльцо.

– Он привез ее! Он ее привез! – закричали они вразнобой. – Да здравствует Йоста Берлинг!

И бросились обнимать гостей.

Никто не задавал вопросов. На дворе глухая ночь, путешественникам нелегко далась дорога, и им надо дать отдохнуть. Главное сделано: Йоста привез Анну.

Все обошлось. Отделались романом мадам де Сталь, так высоко ценимым капитаншей, и зеленым кушаком Синтрама.

* * *

Весь дом уснул. Йоста потихоньку оделся, незаметно вывел из конюшни Дон Жуана и запряг его в сани. И тут на крыльце появилась Анна.

– Я слышала, как ты встал, – сказала она. – Я готова ехать.

Он подошел к ней и взял за руку:

– Ты еще не поняла? Этого не будет. Бог не хочет этого, попробуй понять! Я обедал у них, я слышал, какое горе ты им причинила своей предстоящей свадьбой с этим Дальбергом. И я поехал в Борг, чтобы уговорить тебя вернуться к Фердинанду. И вот что из этого вышло... только такой законченный негодяй, как я, мог так поступить. Я чуть не предал Фердинанда ради собственного счастья. Его мать, пожилая женщина, надеется, что когда-нибудь я стану мужчиной. Ее я тоже чуть не предал. И еще одна бедная женщина готова терпеть голод и холод, лишь бы жить в этой семье, лишь бы остаться среди друзей. А я собирался позволить Синтраму отнять у них все. Ты прекрасна, Анна, грех сладок, а Йоста Берлинг не из тех, кто долго сопро-

тивляется соблазну. Что я за человек! – воскликнул он с рыданием в голосе. – Я же все знал! Знал, что значит для них этот дом, что значит для них возможность провести остаток дней в мире и покое, среди друзей и близких, и все же чуть не обрек их на разорение. Но теперь, Анна, когда я увидел, как они обрадовались твоему приезду – нет! Я не могу предать их еще раз. И не могу остаться с тобой, Анна, хотя ты наверняка могла бы сделать меня человеком. Я не имею права на тебя... О, любимая! Он, там, в небесах, играет нашими страстями и желаниями. Наверное, это Его право, но сейчас самое время склониться перед Ним, следовать Его указующему персту. Скажи, скажи мне, что с этого дня ты согласна нести свою ношу, потому что это не моя воля и даже не воля Фердинанда, а воля самого Бога! Все в этом доме верят в тебя, они тебя боготворят, скажи же, что ты останешься с ними и будешь им поддержкой и опорой! Обещай мне облегчить мое горе и разочарование в самом себе! Если ты любишь меня, обещай это! Я знаю, твое сердце щедро и открыто, ты можешь победить себя, ты можешь скрыть разочарование за ласковой улыбкой, ты можешь помочь в беде этим беспомощным людям.

И произошло то, чего он не ожидал. Анна кивнула. Глаза ее сверкали восторгом самоотречения и внезапного просветления.

– Я сделаю, как ты скажешь, Йоста. Я пожертвую собой, пожертвую с радостью и улыбкой.

– И ты не возненавидишь моих бедных друзей?

Она печально улыбнулась:

– Я буду любить их, пока люблю тебя.

– Только теперь я понял, – сказал Йоста тихо. – Только теперь я по-настоящему понял, какое ты сокровище и что я теряю. Как горько покидать тебя, любимая...

– Прощай, Йоста! Да хранит тебя Господь. Постараюсь, чтобы моя любовь не стала для тебя искушением и соблазном, – сказала она еле слышно и повернулась, чтобы идти в дом.

Он взял ее за руку:

– И ты скоро забудешь меня?

– Поезжай, Йоста! Мы всего только люди.

Анна захлопнула за собой дверь.

Он вскочил в санки, но она вновь появилась на пороге и подбежала к нему:

– А волки?

– Я как раз о них подумал. И знаешь, я уверен – этой ночью они меня не тронут.

Йоста хотел обнять ее в последний раз, но Дон Жуан нетерпеливо дернул санки, и он так и остался сидеть с протянутыми для объятия руками. Он даже не дотронулся до вожжей. Откинулся на спинку сиденья, оглянулся и горько заплакал.

Счастье было совсем рядом, и он сам его оттолкнул. Почему он не сохранил ее, эту прекрасную, нежную, страстно полюбившую его девушку?

Ах, Йоста Берлинг... самый сильный и самый слабый человек на земле!

Глава пятая

Качуча

Ах, боевой конь, славный боевой конь! Стоишь, старина, стреноженный на лугу, – а помнишь ли дни своей юности?

Помнишь ли ты, храбрец, дни великих битв? Ты мчал как на крыльях, языками пламени разжевалась твоя роскошная рыжая грива, а на взмыленной могучей груди алели капли крови. Ты летел, не зная страха, сверкала на солнце золотая сбруя, вздрагивала под копытами земля, и сам ты вздрагивал всей шкурой от восторга и азарта боя. Как ты был прекрасен!

Во флигеле кавалеров сгущаются сумерки. Красные сундуки у стен, на крюках развешана выходная одежда. Блики огня от пылающего камина мечутся по оштукатуренным стенам и желтым клетчатым шторам, скрывающим спрятанные в углублениях кровати.

Королевскими покоем их флигель не назовешь. И уж никак не сералем с мягкими козетками и пуховыми вышитыми подушками.

Но вот же она, скрипка Лильекруны! Что же играет он, о чем поет смычок его?

Качучу. Он играет качучу. Раз за разом играет он качучу.

Порви струны, сломай об колено свой деревенский смычок! Зачем играешь ты качучу, когда подпоручик Эрнеклу мучится от подагры и даже пальцем не может пошевелить на своей лежанке? Замолкни, спельман¹³! А не замолкнет, отнимите у него эту треклятую скрипку, разможжите об стену!

Качуча... не для нас ли этот танец, маэстро? Ты думаешь, мы должны броситься танцевать прямо здесь, на шатких досках флигеля, натываясь на стены, черные от сажи и жирные от грязи? Под этим низким потолком? Горе тебе, маэстро, ты смеешься над нами!

Качуча – для нас, для кавалеров? Качуча... за окном воев вьюга, стекла в морозных звездах. Может, ты надеешься, что снежинки запляшут в такт твоей качуче, может, ты играешь для них, легкокрылых детей непогоды?

А где женские тела, вздрагивающие от толчков разгоряченной крови? Где маленькие чумазные ручки, отшвырнувшие котелок, чтобы надеть кастаньеты? Где подоткнутые юбки, босые ножки, смело ступающие на выщербленные мраморные плиты двора? Где присевшие на корточки цыгане с гитарами и тамбуринами? Где мавританские аркады, волшебный лунный свет, густая и темная синева испанского неба? Есть ли у тебя все это? Если нет, отложи свою скрипку.

Кавалеры сушат одежду у огня, от промокших кафтанов поднимается тяжелый, смрадный пар. И что ему надо, Лильекруне? Неужели он хочет, чтобы они танцевали качучу в своих тяжелых сапогах с дюймовыми подошвами, на подбитых железом каблуках? В тех самых сапогах, в которых бродили весь день в лесу, увязая по колено в снегу, в поисках медвежьей берлоги? Неужели он хочет, чтобы они натянули свои тяжелые, влажно-горячие дымящиеся сермяги и пустились в пляс? Не иначе как с мохнатым медведем в обнимку...

Горячее вечернее небо, сверкающее золотой россыпью звезд, красные розы в темных волосах женщин, грешная истома в воздухе, звериное изящество движений и, конечно, любовь, любовь! Ни шагу без любви. Она везде – любовь поднимается душистым паром от красной земли, проливается теплым коротким дождем... где у тебя все это? Нет? Так какого же черта заставляешь ты нас мечтать о недоступном?

Ты жесток, Лильекруна; ты трубишь в боевой рог, а кони стары и стреножены. Рутгер фон Эрнеклу не может встать с постели, пощади, не мучь его сладостными воспоминаниями.

¹³ Спельман – деревенский скрипач.

Он ведь тоже когда-то надевал сомбреро и пеструю сетку на волосы, и у него была бархатная короткая курточка и кушак с ножнами для кинжала. Пощади его, маэстро!

Но нет, не остановить Лильекруну – он играет качучу. Раз за разом играет он качучу, и Эрнеклу бессильно закрывает глаза. Тяжко ему, Рутгеру фон Эрнеклу, он чувствует себя как любовник, который смотрит на ласточку, стремительным косым полетом улетающую к далекому и недоступному ему замку возлюбленной, как затравленный олень, которого гонит мимо желанного родника неумолимая собачья свора.

Лильекруна на миг отрывает подбородок от скрипки:

– А помнит ли подпоручик Розали фон Бергер?

Эрнеклу отвечает длинным, многословным проклятием.

– Легкая, как луч света. Она танцевала, как перламутровый глазок на кончике смычка. Подпоручик помнит ее, конечно же помнит, он же помнит театр в Карлстаде. Как молоды мы были!

Еще бы он не помнил ее! Маленькая, изящная, искрящаяся... как она танцевала качучу! Мало того, научила танцевать качучу и выщелкивать фиоритуры кастаньетами всех молодых людей в Карлстаде. На балу у наместника танцевали они па-де-де в испанских костюмах.

И он, молодой подпоручик, танцевал так, будто родился не в холодной Швеции, а в тени фиговых деревьев и платанов. Он танцевал как настоящий испанец.

Во всем Вермланде ни один человек не умел танцевать качучу, как подпоручик Эрнеклу. Ни один человек, кроме подпоручика Эрнеклу, не умел танцевать качучу так, чтобы заслужить упоминания в этом рассказе.

Какого кавалера потерял Вермланд, когда подагра сковала его члены, когда на всех суставах появились воспаленные и болезненные опухоли. Какого кавалера! Стройного, изящного, с горящими глазами, красавца и истинного рыцаря. Красавец Эрнеклу – только так и называли его местные девушки, они чуть не дрались за право хоть раз станцевать с таким партнером.

И опять и опять поднимает Лильекруна скрипку к подбородку, и опять начинает играть качучу, и уносят воспоминания подпоручика Рутгера фон Эрнеклу, уносят в невозвратные времена его молодости. Вот же она стоит, Розали фон Бергер. Только что они были вместе в примерке. Он – испанец, она – испанка. Он поцеловал ее нежно и осторожно, чтобы не испугать своими черными накладными усами. И вот они танцуют – так, как танцуют качучу в тени фиговых деревьев и платанов под синим небом Испании! Она отстраняется в притворном смущении, он следует за ней. Он дерзок, она горда; он обижен, она ищет примирения. И когда он наконец, падает перед ней на колени и принимает ее в свои объятия, вдох восхищения проносится по бальному залу.

Он и в самом деле был испанцем. Настоящим испанцем.

Вот-вот, этот удар смычка, эта стонущая нота с форшлагом, именно тут он вытянулся, встал на носки и поплыл, как плывет черное предгрозовое облако. Какая грация! Этот момент стоило бы запечатлеть в мраморе или, на худой конец, в бронзе.

И только представьте! Подпоручик Эрнеклу и сам не мог бы объяснить, что с ним произошло. Он с трудом перенес ноги через край кровати, встал, развел руки, щелкнул пальцами и поплыл по скрипучим доскам – точно так, как в молодости, когда надевал для танцев такие тесные туфли, что у чулок приходилось отрезать подошву.

– Браво, Эрнеклу! Браво, Лильекруна! Ты вдохнул в него жизнь!

Но не слушаются ноги, нет, не встать подпоручику на носки, не удивить друзей замысловатыми па... Делает несколько шагов и валится на кровать. О, прекрасный сеньор, вы составились!

А сеньорита? Может быть, и сеньорита уже не та?

Что ж, только под платанами Гранады танцуют качучу юные гитаны. Вечно юные, потому что они как розы. Потому что каждую весну появляются новые розы, и каждую весну появляются новые юные гитаны, новые звезды качучи.

Пора, пора порвать струны скрипки Лильекруны...

Нет, не пора! Играй, играй качучу, вечно играй качучу!

Пусть напоминает нам она, что мы так же молоды, как и были, не угасли в нас испанские страсти! И плевать мы хотели на слабые тела и окоченевшие суставы – чувства не стареют.

О, боевой конь, боевой конь!

Стоит тебе услышать клич трубы, вскидываешь ты голову и пытаешься поднять истертые железными путами ноги...

Глава шестая

Бал в Экебю

О, женщины той поры!

Рассказывать о вас нечего и пытаться; с таким же успехом можно описывать Царство Небесное. Сплошная красота, сплошное сияние. Вечно юные, вечно прекрасные, нежные, как глаза матери, когда она смотрит на свое дитя. Невесомые, как бельчата, обвивали вы шеи своих мужей. Никогда не повышали вы голос в гневе, никогда не морщили досадливо лоб, руки ваши никогда не грубели. Вы, как светлые ангелы, царили в возведенных вами же храмах ваших домов, украшали их своей несказанной прелестью. Вы, святые мадонны, охраняли домашний очаг. Вам курили фимиам, вам молились, благодаря вам любовь творила истинные чудеса, а над головами вашими сияли золотые нимбы, замеченные поначалу поэтами, а потом и всеми остальными!

О, женщины той поры!

Это рассказ, как еще одна из вас одарила Йосту Берлинга своей любовью.

Еще не успели остыть на его губах поцелуи Анны Шернхёк, едва разомкнулось кольцо белых рук, но уже ласкали его губы еще горячее, и еще белее были руки, обвивавшие его шею.

И что он мог сделать, как не принять эти сладчайшие из даров? Любовь – самая древняя и неистребимая привычка нашего сердца, и горе неразделенной любви может исцелить только счастье любви разделенной. Странно устроено сердце: обжегшись, оно опять стремится к огню.

Через две недели после бала в Борге давали бал в Экебю.

Ах, какой это был праздник! Старики и старухи молодели и улыбались, стоило только заговорить про этот бал.

В те времена в Экебю всем заправляли кавалеры. Майорша бродила по дорогам с посохом и сумой, а майор уехал в Шё и слышать не хотел про ненавистное поместье. Он даже не приехал на бал – в Шё появилась оспа, и майор боялся разнести заразу.

Каких только развлечений не было за эти роскошные двенадцать часов! От первой хлопнувшей в потолок пробки за ужином до последнего удара смычка, когда давно уже миновала полночь. Куда канули эти волшебные часы, эти огненные вина, эти роскошные яства, эти остроумные скетчи, шарады и живые картины? Куда канули головокружительные танцы? Куда, в конце концов, подевались элегантные кавалеры и изысканные женщины?

О, женщины, женщины той поры, как умели вы украсить любой праздник! Какие потоки огня, остроумия, бурлящей молодости встречали каждого, кто приближался к вам! Ничего не жаль, никаких денег не жаль на восковые свечи, которым выпала честь освещать вашу красоту, на вино, вселяющее веселье в ваши сердца. Не жаль топтать в прах подошвы в танцах, не жаль натруженных смычком рук.

О, женщины той поры, это вы, и никто иной, владели ключом от рая!

Лучшие из лучших, прелестнейшие из прелестнейших собрались в залах Экебю. Молодая графиня Дона, веселая и разгоряченная играми и танцами, как и должно быть в ее двадцать лет, очаровательные дочери мункерюдского судьи, смешливые сестры Фердинанда Угглы из Берги. И Анна Шернхёк, в тысячу раз прекраснее, чем раньше, – настолько шла ей роль добровольной жертвы и самаритянки, взятая той памятной ночью, когда за ними гнались волки... и многие, многие другие обреченные на забвение красавицы той поры.

И среди них, конечно, прекрасная Марианна Синклер.

Марианна Синклер, наверное, самая знаменитая из всех, Марианна Синклер, блиставшая при дворе, Марианна Синклер, которой восторгались все, куда бы она ни приехала, Марианна Синклер, так же легко высекавшая искры любви и обожания, как высекают искру из огнива, – она, Марианна Синклер, тоже почтила устроенный кавалерами бал своим присутствием.

Высоко, очень высоко стояла в ту пору звезда Вермланда, много было всего, чем по праву гордились его обитатели, но когда заходила речь о главных достопримечательностях края, всегда возникало имя Марианны Синклер.

Слухи о ее победах ходили по всей стране.

Поговаривали о невероятных предложениях, о порхающих вокруг ее прелестной головки графских коронах, о миллионах, которые обезумевшие поклонники готовы были бросить к ее ногам. Известна была и ее слабость к воинским доблестям и поэтическим лаврам.

Но красота – не единственное достоинство Марианны Синклер. Она умна и начитанна. Лучшие умы того времени искали случая побеседовать с ней. Сама она не писала, но семена ее замыслов, брошенные в поэтические души друзей-скальдов, дали обширные всходы в виде романсов и стихов.

В Вермланде, в медвежьем краю, она почти не бывала. Вся ее жизнь проходила в путешествиях. Ее отец, богач Мельхиор Синклер, сиднем сидел с женой в своем поместье и позволял Марианне навещать своих друзей в больших городах и богатых поместьях. Он с удовольствием рассказывал о ее расточительности, о ее друзьях, и оба они, старик Мельхиор и его жена, грелись в лучах дочерней славы.

Жизнь ее была сплошной чередой наслаждений и восхвалений. Казалось, даже сам воздух в ее присутствии сочился любовью, любовь вела ее по жизни, освещала путь. Она не могла жить без поклонения.

И сама она тоже влюблялась – часто, даже очень часто, но ненадолго, и не настолько, чтобы надеть на себя пожизненные оковы брака.

– Я жду моего героя, – отшучивалась она. – Жду, когда он переплывет крепостной ров и возьмет неприступную крепость. Зачем мне ручные, кроткие поклонники, без огня во взоре и отваги в сердце. Я жду того, кто похитит меня, пусть даже вопреки моей воле. Я жду настоящей любви, я даже готова бояться его, моего героя, могучего и непобедимого. А пока мой разум трезв и не затуманен страстью, я могу только улыбаться, когда кто-то старается меня завоевать, да еще и робеет при этом.

Ее присутствие воспламеняло разговор, придавало крепость вину, вселяло жизнь в смычки и струны, а когда она шла танцевать, у всех начинала кружиться голова, словно ее изящные ножки раскручивали дубовые половицы бального зала и превращали их в стремительную карусель. Она блистала в шарадах и живых картинах, оживляла бурлески тонким остроумием, ее прелестные губы...

Но здесь мы остановимся.

Ничего подобного Марианна не ожидала и не хотела. Да и вины ее не было – балкон, чарующий свет луны, кружевная шаль, рыцарский камзол, серенада... на них и лежит вина. Что они могли противопоставить лунному свету, молодые и неопытные люди?

И, как всегда, намерения были самые хорошие. Патрон Юлиус, остряк и выдумщик, предложил сюжет «Дон Жуана» – средневековый замок, молодая сеньора и ее поклонник. В этой живой картине Марианна должна была проявить себя как нельзя лучше.

В большой салон собралось множество гостей, и все увидели густо-синее испанское небо и толчками плывущую по нему желтую рогатую луну. Дон Жуан подкрался к увитому плющом балкону – он переоделся монахом, хотя из-под монашеского плаща выглядывали манжеты с золотой вышивкой и кончик шпаги, а на сапогах сверкали шпоры.

Переодетый Дон Жуан ударил по струнам гитары.

– Я не касался нежных уст
В горячем поцелуе,
И мой хрустальный кубок пуст,
Одну лишь воду пью я,

Сеньора, близостью маня,
Не подходи к решетке,
Твой взгляд, исполненный огня,
Ничуть не трогает меня,
Как и любовь красоты!
Нет, я не создан для любви,
Со мною спутники мои:
Сутана, крест и четки!

Он замолчал, и на балконе появилась Марианна в черном бархатном платье и кружевной вуали. Перегнулась через перила и спела медленно, с насмешкой:

– Подчинены твои мечты
Монашеским законам,
Но для чего ж дежуришь ты
У дамы под балконом?

Тут она оглянулась и забеспокоилась.

– Беги! Сюда идет супруг,
Он звон услышит шпор,
Ты тих и кроток, милый друг,
Но твой клинок остер!

При этих словах монах сбросил сутану, и перед зрителями предстал не кто иной, как Йоста Берлинг в шелковом, расшитом золотом рыцарском облачении. Он не внял предупреждению красавицы, вскарабкался по столбу на балкон, изящным движением перекинул тело через перила и, как и предусмотрел патрон Юлиус, упал ей в ноги.

Она на секунду возвела глаза к небу в безмолвной молитве и с чарующей улыбкой протянула ему руку для поцелуя.

И в этот момент упал занавес.

Перед Марианной стоял на коленях Йоста Берлинг, вдохновенный, как поэт, и дерзкий, как предводитель войска; глаза его искрились умом и смехом, они умоляли, убеждали, околдовывали и повелевали. Гибок и мощен был он, пылок и пленителен.

Разразились аплодисменты. Несколько раз поднимался и опускался занавес, а молодые артисты стояли в той же позе, Йоста не сводил с Марианны лучистых, смеющихся и молящих глаз.

Наконец аплодисменты стихли, занавес опустился в последний раз. Теперь героев никто не видел.

И что же сделала Марианна Синклер? А вот что: Марианна Синклер наклонилась и поцеловала Йосту Берлинга. Он обнял ее за голову и удержал, и ей ничего не оставалось, как целовать его еще и еще.

И кто же виноват? Марианна? Йоста?

Да нет, нет, конечно же вины их нет. Балкон, смешная рогатая луна, которую никак не удавалось плавно вести по синему небу, кружевная шаль, рыцарский камзол, серенада, аплодисменты... Бедные молодые люди ни в чем не виноваты. Они этого не хотели. Не для того же отталкивала она уже готовые украсить ее прелестную головку графские короны, не для того же отказывалась от миллионных состояний, которые бросали к ее ногам, чтобы завязать роман, — и с кем? С Йостой Берлингом! И ведь не забыла она еще историю с Анной Шернхёк!

Нет, вины их нет. Ни он, ни она этого не хотели.

И все обошлось бы, если бы не кроткий Лёвенборг, которому было поручено поднимать и опускать занавес. Тот самый Лёвенборг, со слезами на глазах и с улыбкой на устах, Лёвенборг, отягощенный трагическими воспоминаниями и вряд ли замечающий, что происходит в этом чуждом ему мире. Когда он увидел, что Йоста и Марианна сменили позу, он решил, что сцена имеет продолжение, и потянул за канат.

Молодые люди на балконе поначалу ничего не заметили, да и вообще бы не заметили, если бы не аплодисменты. Волна чувства накрыла их с головой, хохот и шум аплодисментов доносились до них приглушенно, как сквозь вату.

Марианна вздрогнула и хотела убежать, но Йоста ее удержал.

– Пусть думают, что так и надо! – прошептал он, ощущая, как испанская сеньора задрожала всем телом, как мгновенно остыл, словно подернулся сухим пеплом, жар ее губ. – Не бойся. Красивые губы для того и созданы, чтобы целоваться. Это их долг и право.

Объятие их казалось бесконечным, целая вечность прошла, пока Лёвенборг догадался опустить занавес, но и на этом дело не кончилось. Аплодисменты не смолкали, занавес поднимался и опускался, и не меньше ста пар глаз смотрели на застывшую в чувственном объятии юную пару.

Потому что ничего не может быть прекраснее, чем два юных, прекрасных существа в чувственном объятии. Они напомнили публике, что высшее счастье, которое только может быть дано смертному, – любовь. И никто даже подумать не мог, что эти поцелуи вовсе не театральное действие, не живая сцена. Никому и в голову не пришло, что сеньора дрожит не от показной страсти, а от стыда, а юный рыцарь – от волнения. Никто даже не заподозрил неладное.

Наконец-то они оказались за сценой.

Марианна провела рукой по лбу:

– Сама не понимаю, что на меня нашло.

– Конечно, конечно. – Йоста скорчил брезгливую гримасу. – Ты с ума сошла! Целоваться публично – и с кем? С Йостой Берлингом! Какой позор!

Она не сдержалась и захохотала:

– О чем ты? Все знают, что Йоста Берлинг неотразим. А я что? Я не хуже других.

И конечно, они тут же договорились, что никому не выдадут их маленькую тайну. Театр есть театр, пьеса есть пьеса. Дон Жуан еще более неотразим, чем Йоста Берлинг.

– А я могу на тебя надеяться? – спросила Марианна, когда пришло время возвращаться к гостям.

– Фрёкен... мадемуазель Марианна может на меня надеяться. Кавалеры умеют хранить тайны.

Она опустила глаза, и странная улыбка заиграла на ее губах.

– А если все же правда выплывет? – спросила она. – Что люди обо мне подумают, господин Йоста?

– Они не подумают ровным счетом ничего. Подумают, что ты замечательная актриса, вошла в роль и не могла остановиться.

Марианна продолжала улыбаться, не поднимая глаз.

– А господин Йоста? Что думает по этому поводу господин Йоста Берлинг?

– Я думаю, что фрёкен... мадемуазель Марианна в меня влюбилась.

– Даже не собиралась! Могу в доказательство проткнуть господина Йосту вот этим испанским кинжалом. Есть господин Йоста, нет господина Йосты – мне все равно.

– Дороги нынче стали женские поцелуи. Один поцелуй – и жизнь кончена.

Йоста шутливо пригорюнился, посмотрел исподлобья на Марианну и вздрогнул: с девушкой что-то случилось. Взгляд ее внезапно вспыхнул яростной, почти невыносимой ненавистью, он и в самом деле походил на удар испанского кинжала.

– Я бы хотела... Я бы хотела, чтобы жизнь господина Берлинга на этом окончилась, сейчас, в эту минуту.

Слова ее, а еще более взгляд зажгли в крови поэта знакомую сладкую истому.

– О, если бы это было так! – сказал он тихо и задумчиво, и глаза его заблестели слезами. – О, если бы это были не слова, а стрелы, со смертельным свистом вылетающие из густых зарослей, если бы это был кинжал или яд... если бы они были во власти умертвить жалкое тело и дать душе моей желанную свободу...

Марианна взяла себя в руки и улыбнулась.

– Что за ребячество, – сказала она, взяла его под руку и повела к гостям.

Они так и не сняли свои испанские костюмы, и появление пары вновь вызвало аплодисменты. Выстроилась очередь желающих поздравить их с успехом.

Никто ничего не заподозрил.

Опять начались танцы, но Йоста Берлинг постарался скрыться. Кинжальный взгляд Марианны... он прекрасно понял, что она хотела сказать.

Для нее это позор. Позор, что она влюбилась в Йосту Берлинга, позор, что он влюбился в нее. Позор хуже смерти.

С танцами покончено. Он не хотел их видеть, всех этих чопорных красавиц.

Их взгляды, их легко заливающиеся краской щечки – не для него. Их легкие ножки порхают не для него, не для него этот зазывный грудной смех. Потанцевать с ним – почему бы нет, водить компанию, кокетничать, но никто из них не захочет отдать свою судьбу в его руки. В ненадежные руки Йосты Берлинга.

Он пошел в сигарную, где гости постарше собрались у ломберных столиков. Свободное место нашлось у стола, где сидел огромный хозяин такого же огромного поместья Бьорне. Он играл вперемежку то в тридцать одно, то в польский банчок, и, похоже, выигрывал – на столе перед ним лежали небрежный ворох двенадцатишиллинговых ассигнаций и кучка серебряных монет по шесть эре.

Ставки росли и без Йосты, но Йоста добавил пылу. Счет уже шел на риксдалеры – появились серые, зеленые ассигнации и даже желтые десятки.

Мельхиору Синклеру продолжало везти.

Но и Йоста не сплеховал – перед ним тоже медленно, но верно росла кучка выигранных денег. Игроки пасовали один за другим, и вскоре за столом остались только двое: Йоста Берлинг и огромный, как медведь, помещик из Бьорне. И Йоста выиграл.

– Йоста, паренек! – захохотал помещик, демонстративно потряс бумажником и вывернул кошелек. – Больше у меня при себе нет. Что нам теперь делать? Я, как видишь, нищий, а в долг не играю. Обещал матери, понимаешь. – Он снова захохотал и вынул из кармана брегет.

Часы он проиграл. Такая же участь постигла и бобровую шубу. Мельхиор разгорячился не на шутку и собирался было поставить на карту коня и санки, но его остановил невесть откуда взявшийся Синтрам.

– Поставь что-то посерьезней, тогда отыграешься! – посоветовал коварный заводчик. – Надо переломить везенье!

– Какого дьявола мне ставить, если удача отвернулась? – усмехнулся Мельхиор.

– Поставь-ка, драгоценный брат Мельхиор, свою драгоценную дочку на карту! Ее-то ты точно не проиграешь, совесть не позволит.

Йоста засмеялся:

– Господин Синклер может смело ставить на карту свою дочь – этот выигрыш мне все равно не видать как своих ушей.

И помрачневший было всемогущий Мельхиор тоже затрясся от смеха. Ему, конечно, не особенно понравилось, что имя Марианны упоминают за игорным столом, но предложение Синтрама выглядело настолько дико, что он даже не разозлился. Почему бы не поставить на карту Марианну? Дело беспроигрышное. Йоста прав – Марианну ему не видать как своих ушей.

– Ну что ж... – громкогласно заявил Мельхиор, – если на то пошло... скажем так: если ты, Йоста, выиграешь и добьешься ее согласия, обещаю свое благословение. Так что вот моя ставка: не сама, конечно, Марианна, а мое благословение. Если, конечно, она его попросит.

Йоста поставил весь свой выигрыш, и ему вновь повезло. Заводчик Синтрам вздохнул и развел руками: не идет карта – значит не идет. Против судьбы не поборешься. *Против прухи не попрешь*, сформулировал он свою мысль.

Было уже за полночь. Поблекли розовые щеки красавиц, локоны распрямились, воланы на платьях помялись. Мамаши дочерей на выданье стали подниматься с диванов – бал продолжался уже больше двенадцати часов, пора и честь знать.

Но в последние томительные минуты бала взял Лильекруна свою скрипку и ударил по струнам. Прощальная полька. У крыльца уже фыркают лошади, уже солидные господа завязывают дорожные кушаки и шнурки на ботинках, дамы толпятся у дверей в мехах – кончен, кончен бал. Для пожилых бал кончен, но молодежь никак не оторвать от танцев. Уже и в шубах, и в накидках, а все пляшут они как заведенные – то встанут в круг, то парами, то вчетвером. Потеряет девушка кавалера – не беда, тут же подхватит другой.

И опечаленного Йосту Берлинга тоже захватил этот вихрь. А почему бы нет? Почему бы не вытанцевать прочь унижение, почему бы не разгорячить кровь, не развеселиться, как остальные? Он танцевал без усталости, ему начало казаться, что стены пошли кругом, да что стены – даже мысли завертелись весело и беспорядочно, и уже не жгла сердце обида.

И кто же его партнерша, кого он взял за руку и вырвал из сумасшедшей карусели, кто же она, эта легкая, как пушинка, тонкая и гибкая? Почему, не успел он взять ее за руки, побежали огненные токи между ними? Ах, Марианна, Марианна!

А пока Йоста танцевал, Мельхиор Синклер, дожидаясь дочь, нетерпеливо топтался на снегу в своих огромных ботфортах. Синтрам, уже сидя в коляске, крикнул ему:

– Может, тебе и не стоило проигрывать дочку Йосте Берлингу.

– Это еще почему?

Синтрам ответил не сразу – тщательно разобрал вожжи, взял хлыст.

– Потому что они целовались всерьез. Ничего такого в живой картине не задумано. – Он хлестнул лошадь, и коляска сорвалась с места.

И вовремя – если бы промедлил, неизвестно, чем бы кончилось дело. Все знали, как вспыльчив огромный Мельхиор Синклер и как тяжелы его кулаки.

Помещик вернулся в зал и первое, что он увидел, как Марианна, его дочь, танцует не с кем-нибудь, а именно с Йостой Берлингом.

То, что происходило, даже и танцем назвать нельзя: дикая, исступленная пляска, побледневшие и побагровевшие лица, тонкая взвесь пыли от столетних досок пола, догоревшие до огарков восковые свечи в канделябрах, красноватый колеблющийся свет, похожий на адское пламя. И в этой, как ему показалось, застывшей на мгновение призрачной толпе летела в своем царственном танце безупречно красивая, неутомимая пара, Йоста и Марианна. Они ничего не замечали вокруг, они были захвачены стихией движения и в то же время повелевали ей легко и непринужденно; казалось, стоит им захотеть, и они полетят, не касаясь пола, к одним им ведомой цели.

Мельхиор Синклер недолго смотрел на них. Он вышел на крыльцо, грохнул за собой дверь, сел в санки, где ждала жена, и через минуту они уже неслись по накатанной колее.

И когда Лильекруна опустил свою скрипку и вытер пот со лба, Марианне сказали, что родители уже уехали, не стали ее дожидаться.

Она удивилась, конечно, но виду не подала: уехали – значит уехали. Она нашла шубку и вышла. Дамы решили, что у нее собственный экипаж.

Но никакого экипажа у Марианны не было. Она бежала по снегу в своих шелковых балльных туфельках. Ее обгоняли экипажи, она шарахалась в придорожные сугробы, но никто даже предположить не мог, что это сама Марианна Синклер бежит, увязая в снегу. Красавица Марианна Синклер!

За воротами Экебю дорога стала пошире, и она прибавила шаг. Ей стало жутко. Придорожные кусты в темноте напоминали затаившихся медведей. Остановилась, перевела дух и опять побежала.

От Экебю до Бьорне близко, самое большее – четверть мили¹⁴. Когда Марианна подбежала к усадьбе, ей в первую секунду показалось, что она заблудилась. Все двери заперты, свет погашен. Но нет, это их усадьба. Бьорне. Неужели родители еще не добрались?

Она сильно постучала в дверь, потом начала колотить дверным кольцом по медной накладке. Гулкое эхо носилось по всему дому, но никто не выходил.

Пальцы примерзли к металлу. Марианна с трудом, содрав кожу, оторвала руку.

Всесильный заводчик, помещик Мельхиор Синклер запер двери своего дома для собственной дочери.

Он много выпил и обезумел. Он ненавидел Марианну – только за то, что она, как ему спяну показалось, симпатизирует Йосте Берлингу. Мало что соображая от гнева, запер жену в спальне, прислугу в кухне, пообещав, что оторвет голову каждому, кто посмеет впустить в дом беспутную шалаву. Никто слова не сказал – домашние знали, что он вполне способен сдерживать свои людоедские обещания.

Никто и никогда не видел Мельхиора Синклера в такой ярости. Может, оно и к лучшему, что он не впустил Марианну в дом, – если бы она появилась, он вполне мог ее убить.

Как он только ее не баловал! Золотые украшения, шелковые платья, а какое образование он ей дал! Она была его гордостью, его божком, он преклонялся перед ней, словно на голове у нее была корона. Его принцесса, несравненная, прекрасная, гордая Марианна! Разве жалел он что-нибудь для нее? Разве отказывал ей в чем-то? Он, считавший себя неотесанным бурбоном, недостойным такой дочери! Ах, Марианна, Марианна!

Как ему не возненавидеть ее! Подумать стыдно – влюбилась в Йосту Берлинга! Целовала его! При всех! Она ему больше не дочь! Раз она могла так обесчестить и себя, и его, она ему больше не дочь! Пусть убирается на все четыре стороны! Какой позор – влюбиться в такого, как Йоста Берлинг! Пусть ночует в Экебю, пусть стучится к соседям, пусть хоть в сугробе валяется, ему все равно. Она уже вывалилась по уши в грязи, его прекрасная Марианна. Ее больше нет. Украшение и утешение всей его жизни... она для него не существует.

Мельхиор лежал в постели и распял сам себя. Он прекрасно слышал, как она стучит в дверь. А ему-то какое дело? Он спит. Там, на крыльце, стоит обесчещенная любовью к разжалованному священнику женщина. Для падших созданий вроде нее в его доме нет места. Если бы он любил ее чуть меньше, если бы она не была ему так дорога, если бы он чуть меньше гордился ею... Тогда, может быть, он и преодолел бы отвращение и впустил ее.

Да, надо признать, благословение на ее брак он проиграл в карты Йосте Берлингу. Но открыть ей дверь? Впустить в свой дом? Ни за что... Ах, Марианна!

А что же Марианна? Что делает в это время она, ослепительная красавица, королева балов и приемов, желанная собеседница величайших умов страны?

В отчаянии колотит она в дверь своими израненными руками, умоляет о прощении.

Но никто не слышит ее, дом словно вымер, застыл в ледяном молчании.

¹⁴ Напомним: шведская миля – десять километров.

Что можно представить себе ужаснее? Даже и я – рассказываю, а у меня бегут мурашки по коже от страха. Она вернулась с бала, где была признанной королевой! Гордой, счастливой королевой! И сброшена с пьедестала в эту бездонную, ледяную ночь, где ей суждено погибнуть в двух шагах от родного дома. Не униженной, не избитой, не проклятой, а выброшенной из собственного дома с ледящей душу, бесчувственной расчетливостью!

Я думаю о громоздящейся над ней морозной, истыканной алмазными гвоздиками звезд равнодушной тьме, о снежных равнинах, о молчаливых, будто затаившихся лесах. И люди, и природа заснули спокойным сном, и я вижу только одну живую точку в этом белом безмолвии. Все горе мира, весь страх, вся лишенная надежды тоска сосредоточились в этом живом комочке плоти. О боже, остаться одной в этом заледеневшем, спящем мире, где не от кого ждать поддержки и участия!

Впервые в жизни она встретила с истинным жестокосердием. Ее мать даже не поднялась с постели, чтобы спасти ее. А старые слуги, оберегавшие каждый ее шаг, сдувавшие с нее пылинки, они же тоже слышат, как она погибает здесь, у дверей собственного дома! И пальцем не пошевелият, чтобы ей помочь... За какое преступление она наказана? Где еще ей ждать любви и прощения, как не за этими дверьми? Если бы она даже убила кого-то, и то... она была уверена, что, если бы она даже осквернила себя убийством, ее не встретили бы этим страшным, необъяснимым молчанием. Она могла пасть как угодно низко, но приди она домой в язвах и обносах – ее встретили бы с любовью и пониманием. Эта дверь в ее дом, где она никогда не видела ничего, кроме безграничной и безусловной, слепой любви.

Но может быть, достаточно? Неужели сердце отца ее не дрогнет?

– Отец! – кричит она в отчаянии. – Я замерзаю! Мама, ты, которая так преданно оберегала меня всю жизнь, не спала ночей над моей кроваткой, почему же ты спишь сейчас? Проснись, только проснись, я никогда больше не причиню тебе огорчений!

Она выкрикивает все это одним духом и замолкает, задерживает дыхание, чтобы лучше слышать. Дом молчит. Ни хлопка открываемой двери, ни скрипа половиц.

Она заламывает руки. Отчаяние настолько поразило ее, что даже слез нет.

О, этот длинный, темный дом с закрытыми наглухо дверьми и слепо поблескивающими в ночи темными окнами... он кажется нежилым. Что с ней будет теперь? С ней, лишенной родительского крова? Отец сам прижал раскаленное тавро к ее плечу, и она останется меченной этим позором навсегда, пока видит над собой звездное небо.

– Что со мной будет, отец? Что обо мне подумают?

Наконец она заплакала. Холод медленно, но неумолимо сковывал ее тело.

Горе тому, кто окажется на ее месте в морозную беспощадную ночь, но вдвойне горе тому, кто стоял так высоко, как стояла она, и все же провалился в погибельную бездну. Как после этого не страшиться жизни? Как не понять, на каком утлом суденышке плывем мы в нелепой надежде, что боги жизненных штормов пощадят именно нас! Горе колышется вокруг, как бескрайнее море, голодные волны плещут через борт, они уже готовы поглотить нас. И ни земли, ни островка, ни случайного корабля – ничего. Только незнакомое небо над океаном отчаяния...

Но тс-с-с... наконец-то, наконец-то! Послышались легкие, осторожные шаги.

– Мама, это ты?

– Да, моя девочка. Это я.

– Открой же дверь!

– Не могу, дитя мое. Отец не велел тебе открывать.

– Я прибежала сюда из Экебю по сугробам в шелковых туфельках! Стою здесь уже час, стучу и кричу. Я же замерзну насмерть! Почему вы бросили меня и уехали?

– Девочка моя, девочка... зачем ты целовала Йосту Берлинга?

– Тогда скажи отцу – это была шутка! Неужели он решил, что я в него влюбилась? Это была шутка, игра! Неужели ты тоже думаешь, что мне нужен Йоста!

– Иди к управляющему, Марианна, попроси, чтобы он пустил тебя переночевать. Отец пьян и ничего слышать не хочет. Он и меня не выпускал. Я прокралась на цыпочках, когда он уснул. Он убьет меня, если я тебя впущу.

– Неужели я должна идти к чужим людям, когда у меня есть дом? И ты так же жестока, как отец! Как ты могла допустить, чтобы меня выбросили из дому замерзать? Если ты не вступишь меня, я ни к кому не пойду. Лягу в сугроб и умру...

И мать положила руку на рукоятку замка, чтобы открыть дочери дверь, но тут послышались тяжелые шаги на лестнице и суровый голос отца:

– А ну, вернись на место!

Марианна прислушалась. Мать отошла от двери, раздались грубые ругательства и...

Марианна не поверила своим ушам. Она услышала звук, похожий на звук пощечины, потом еще раз и еще... Этот негодяй посмел ударить ее мать! Этот медведь, с кем не мог сравниться силой ни один забияка в уезде, бил слабую женщину, свою жену.

Марианна упала на крыльцо, корчась, как будто били ее, а не мать. Она рыдала, и слезы тут же превращались в прозрачные льдинки на пороге.

Пощады, пощады! Откройте же дверь, пусть он бьет меня! Кем надо быть, чтобы ударить мать за то, что она пыталась утешить своего ребенка, спасти его от неминуемой гибели на морозе!

Душа ее еще не знала такого унижения. Только что она была королевой, а сейчас валяется в снегу, как высеченная рабыня... Ну нет, она не рабыня. Ее охватила холодная ярость. Окровавленной рукой начала она колотить в дверь.

– Слышишь, ты, тот, кто бьет мою мать! Ты пожалеешь! Ты будешь рыдать горькими слезами, но не будет тебе прощения! – крикнула она и, пятясь, отошла от крыльца.

Отбросила в сторону шубку, осталась в черном шелковом платье и легла в сугроб, раскинув руки, похожая на огромную убитую птицу. Лежала и думала, каково будет отцу выйти завтра из дома и найти ее мертвой здесь, рядом с дверью, которую ей так и не открыли. Ей ничего уже не хотелось – только чтобы нашел ее именно он, ее отец.

* * *

О, смерть, бледная подруга моя! От тебя не уйти, еще никому не удавалось уйти от тебя. Но в этом есть и утешение. Даже ко мне, нерадивой из нерадивых, придешь ты, ласково пригнешь из рук моих мутовку и стеклянную банку с мукой, развяжешь заношенные башмаки, снимешь рабочее платье. Мягко и властно облачишь меня в тонкое, умело драпированное льняное платье и уложишь на обитое шелковыми кружевами ложе. Башмаки более не нужны ногам моим, и на руки мои наденешь ты нитяные перчатки, им никогда уже не придется марать себя работой. И ты благословишь меня на отдых, и засну я тысячелетним сном. Избавительница-смерть, нет на земле ленивее труженицы, чем я, и с дрожью восторга мечтаю я о блаженном миге, когда забереешь ты меня в свое царство.

Бледная подруга моя, я смиренно покоряюсь тебе, тебе не составит труда испытать на мне свою силу, но есть и другие, не такие покорные. Куда тяжелее была борьба твоя с женщинами той поры! Какие жизненные силы таились в их изящных телах! И даже лютый мороз тщетно старался охладить их горячую кровь...

Ты заботливо уложила прекрасную Марианну на смертное ложе и присела рядом, как старая нянька присаживается к колыбели, чтобы убаюкать младенца. Нет в мире няньки вернее и преданнее тебя, моя бледная подруга. Ты знаешь, как укачать и успокоить дитя человеческого, и приходишь в гнев, когда товарищи по играм с шумом и гамом будят только что сомкнувшего

глаза ребенка и вновь вовлекают его в свои дикие забавы. Даже страшно подумать, в какую ярость пришла ты, когда кавалеры подняли Марианну с ее смертного ложа, когда один из них прижал ее к себе и горячие слезы его начали капать на побелевшее чело!

* * *

Погашены свечи в Экебю, уехали гости. Кавалеры собрались в своем флигеле вокруг последней, уже полупустой, чаши с пуншем.

Йоста щелкнул несколько раз по краю хрустальной пуншницы, она отозвалась мелодичным колокольчиком. Он решил сказать речь. Речь о женщинах той далекой поры.

– О, женщины! – сказал Йоста. – Рассказывать о вас нечего и пытаться; с таким же успехом можно описывать Царство Небесное. Сплошная красота, сплошное сияние. Вечно юные, вечно прекрасные, нежные, как глаза матери, когда она смотрит на свое дитя. Невесомые, как бельчата, обвиваете вы шеи своих мужей. Никогда не повышаете вы голос в гневе, никогда не морщите досадливо лоб, руки ваши никогда не грубеют. Вы, святые мадонны, охраняете храм домашнего очага. Вам курят фимиам, вам молятся, благодаря вам любовь творит истинные чудеса, а над головами вашими сияют золотые нимбы, замеченные поначалу поэтами, а потом и всеми остальными!

Кавалеры, хмельные от пунша и сладких речей Йосты, повскакали с мест. Кровь кипела и бурлила в их жилах, даже старина Эберхард и тяжелый на подъем кузен Кристофер не усидели на месте. С невероятной скоростью запрягли коней и на двух санях пустились в путь – еще раз восславить тех, кого они не уставали восславлять всю жизнь, спеть каждой из них серенаду, всем им, с ясными глазами и розовыми щечками, всем, кто осчастливил своим появлением большой балльный зал поместья Экебю.

О, женщины той поры! Наверняка сладко было вам, уже взлетевшим на полные волшебных снов небеса, проснуться от звуков спетой в вашу честь серенады!

Но кавалерам так и не удалось осуществить свой трогательный план. Они подъехали к Бьорне и нашли красавицу Марианну в сугробе у дверей своего дома.

Они ужаснулись и преисполнились ярости. Только представьте себе – найти ангела, которому они молились, обезображенным и выброшенным за порог!

Йоста поднял руку со сжатым кулаком и погрозил затихшему дому.

– Вы, – выкрикнул он хриплым от гнева голосом. – Вы, осквернители святынь, вандалы в райском саду! Да будьте вы прокляты, уродливые исчадия ненависти и злобы!

Беренкройц зажег свой рожковый фонарь и осветил бледное, уже со смертной голубизной, лицо Марианны. Они увидели руки с содранной кожей, слезы, льдинки слез на ресницах, и зарыдали от жалости, как рыдают женщины. Она была для них не только ангелом, но и прекрасной женщиной, один вид которой согревал их старые сердца.

Йоста Берлинг упал рядом с ней на колени.

– Вот лежит она, моя невеста! Она наградила меня обручальным поцелуем, а отец обещал свое благословление. Она ждет меня! Она ждет меня в своей белоснежной постели!

Он поднял ее на руки.

– Домой, в Экебю! В снегу нашел я ее, и никто не в силах отнять ее у меня! Даже будить не станем этих мерзавцев, у кого хватило сердца выбросить ее в мороз на улицу, о чьи двери она разбила в кровь свои нежные руки!

Никто не стал перечить. Он положил Марианну в санки, Беренкройц взялся за вожжи и крикнул:

– Натирай ее снегом, Йоста!

Холод совершенно сковал тело бедняжки, но сердце еще билось. Она даже не потеряла сознание, хотя не могла ни открыть глаза, ни пошевелить губами. Она понимала, что кавалеры

нашли ее, но дать им знак было не в ее силах. И она лежала неподвижно, а рыдающий Йоста то лихорадочно тер снегом ее лицо и руки, то покрывал поцелуями, как безумный. Ей страшно захотелось ответить на его ласку, хотя бы движением руки, но тело не слушалось.

Она все помнила. Лежала неподвижно, все еще скованная холодом, но голова была ясная, как никогда раньше. Неужели она влюблена в Йосту Берлинга? Да, влюблена. А может, это просто прихоть, каприз одного вечера? Нет. Вдруг она поняла, что любит его уже много лет.

Она сравнила себя с ним, да и с другими вермландскими знакомыми. Веселые и непосредственные, как дети, они не знали отказа своим желаниям. Если им чего-то хочется, они готовы на все. Поверхностная, пустая жизнь, они никогда не заглядывали в глубину души. И она стала такой же, а какой еще она могла стать, находясь все время в их окружении? Никогда не отдавалась она целиком своему чувству, будь это любовь или что-то иное. Она всегда смотрела на себя как бы со стороны, какая-то часть ее «я» смотрела на все происходящее с иронической усмешкой. Но подсознательно она всегда стремилась к чувству, которое захватило бы ее целиком, в которое она могла бы нырнуть, как в омут, и захлебнуться от счастья.

И вот оно пришло, это чувство. Явился ее герой.

Когда она целовала Йосту Берлинга на шатком бутафорском балконе, она, может быть, впервые в жизни, не думала о себе.

А сейчас, когда она лежала полумертвая в санях и Йоста Берлинг, рыдая, пытался вернуть ее к жизни, она поняла, что любит его. Марианна прислушалась к биению своего сердца. Вернется ли к ней подвижность? Ее вдруг захлестнула сумасшедшая радость, что все сложилось именно так. Ее выгнали из дому, и теперь она, без всяких сомнений, принадлежит Йосте.

Боже, как глупа была она! Сколько лет она боялась дать волю чувствам! Какое это счастье – уступить порывам любви, покорно парить в ее необозримом пространстве!

Вдруг ее охватила тревога. Неужели к ней не вернется счастье движения? Раньше лед сковывал ее душу, она оставалась холодной, хотя внешне была подвижна, весела и даже игрива. А теперь сердце пылает от страсти, а тело скованно ледяными оковами.

И Йоста почувствовал, как ее ледяные руки обхватили его шею в бессильном объятии.

Руки ее почти невесомы, но ей-то кажется, что она обняла любимого изо всех сил в удрушающем порыве страсти.

И когда Беренкройц увидел это объятие, он отпустил вожжи, поднял голову и посмотрел на серое от звезд небо, стараясь отыскать в нем свое любимое созвездие Плеяды.

Глава седьмая Каретный сарай

Дорогие мои друзья, дети рода человеческого! Вполне может быть, что вы читаете эти строки ночью, глубокой и тихой ночью, такой же, как та, что стоит сейчас за окном, когда я пишу. Вы, наверное, решили, что наконец-то можно вздохнуть с облегчением. Кавалеры вернулись в Экебю и, уложив Марианну в лучшей гостевой комнате рядом с большим салоном, наконец-то погрузились в глубокий спокойный сон.

Они и в самом деле улеглись в свои постели, и в самом деле уснули, и устали они ужасно, но выспаться после беспокойной ночи, проспав до полудня, как поступили бы вы на их месте, дорогие читатели, им так и не пришлось.

Вы, наверное, уже забыли, что, пока происходили все эти события, старая майорша бродила по дорогам с посохом и сумой. Но новый образ жизни никак не повлиял на ее характер: если уж она задумывала что-то, что ей представлялось важным, ничто не могло ее остановить, и уж тем более не остановила бы ее боязнь нарушить покой старых грешников. А в эту ночь решила она вот что: выгнать кавалеров из Экебю.

Прошли те времена, когда царила в Экебю майорша во всем своем блеске и величии, когда сеяла радость в своем окружении, как Господь сеет звезды в ночном небе. Пока она, нищая и бездомная, ходила по Вермланду, вся слава и честь богатого поместья Экебю оказалась в руках кавалеров, и они управлялись с поместьем так же, как ветер управляется с золой от костра или весеннее солнце с последними сугробами.

Иной раз кавалеры выезжали на длинных, богато украшенных санях с колокольчиками и плетеными вожжами, и если случайно натыкались на нищенку-майоршу, не опускали они глаза от стыда, не делали, по крайней мере, вид, что не узнают ее, – наоборот.

Они грозили ей кулаками, а иногда еще и поворачивали сани, тесня ее в придорожные сугробы. А майор Фукс, знаменитый охотник на медведей, каждый раз сплевывал через левое плечо – боялся, что старая ведьма сглазит или наведет на него порчу.

Ни малейшей жалости, ни малейшего сострадания. Она была им отвратительна – колдунья, продавшая душу дьяволу. И если бы с ней случилось несчастье, они горевали бы не больше, как если бы в канун Пасхи случайным выстрелом из ружья убили пролетающую ведьму.

Им и в голову не приходило, что в преследовании старой, обездоленной женщины есть что-то мерзкое. Когда люди чрезмерно пекутся о своей бессмертной душе, они часто причиняют другим невыносимые страдания.

Иногда по вечерам, вернувшись во флигель после очередной попойки, замечали они скользящую по двору темную тень и понимали, что это майорша пришла полюбоваться на свои бывшие владения. И тогда из окон до нее доносились грубая ругань и презрительный смех.

И, как это ни горько, равнодушие и презрение к своей благодетельнице все глубже закрадывались в беспутные сердца кавалеров. Семена ненависти, посеянные Синтрамом, дали обильные всходы. Конечно же душам их не грозила опасность, даже если бы майорша осталась в Экебю. Побег с поля битвы уносит больше жизней, чем сама битва.

А майорша никакой ненависти к кавалерам не испытывала. Всей ее ярости хватило бы в лучшем случае на то, чтобы высечь их розгами, как провинившихся мальчишек, а потом оставить жить в своем флигеле и по-прежнему кормить, поить и одаривать милостями, от которых у нее самой становилось теплее на душе.

Но сейчас она не находила себе места. Она боялась за любимое поместье, оставленное на попечение кавалеров. С таким же успехом можно оставить овец на попечение волков, а весенние посевы – на попечение журавлей.

Наверняка не одну ее постигла такая участь. Немало найдется людей, кому выпало на долю видеть, как рушится их гнездо, как идут прахом многие годы терпеливого и ежедневного труда. Видеть, как их любимый дом смотрит на них, как раненый зверь, наблюдать его медленную гибель и сознавать свое бессилие. Наверняка многие из этих людей чувствуют себя преступниками – только преступник мог допустить, чтобы тщательно ухоженные деревья покрывались лишайником и медленно гибли, чтобы заботливо присыпанные гравием дорожки зарастали сорной травой. Наверняка хочется им упасть на колени в поле, что когда-то удивляло соседей урожаями, и умолять не судить строго – не по своей воле, а волею судьбы вынуждены были они забросить родное гнездо. И не решаются они посмотреть в глаза старым коням, отворачиваются, потому что мало у кого хватит отваги выдержать эти молчаливые, укоризненные взгляды. И не решаются они постоять у калитки, посмотреть, как возвращаются коровы с выпаса.

Нет ничего ужаснее на свете, чем перешагнуть порог приходящего в упадок отчего дома.

Умоляю вас, всех, кто оживляет и согревает заботой поля и луга, парки и цветущие сады, не оставляйте их! Ухаживайте за ними с любовью и сердечной радостью, потому что грустно, когда человек скорбит об увядающей природе, но еще грустней, когда природа скорбит о делах человеческих.

Когда я думаю о гордом и славном поместье Экебю, отданном на откуп беспутным кавалерам, то от всей души желаю, чтобы план майорши удался.

А план ее заключался вовсе не в том, чтобы силой вернуть себе Экебю.

Важно было другое – освободить свой дом от этих сумасшедших, от этой библейской саранчи, после набега которой и трава не растет.

Пока майорша ходила по дорогам и жила подаянием, она не переставала думать о своей матери и постепенно поняла, что нет для нее спасения, пока сама мать не снимет проклятия с ее души.

Жива ли она? Никто не сообщал о ее смерти, так что, скорее всего, она так и живет у себя на хуторе в лесах Эльвдалена. Ей уже девяносто, а она по-прежнему вся в работе. Летом доит коров, зимой помогает углежогам. Работает и работает... и мечтает, должно быть, о дне, когда Господь посчитает, что долг ее на земле выполнен.

К тому же майорша втайне надеялась, что мать ее так долго живет на свете, потому что не может умереть, не сняв проклятия с любимой дочери. Не может умереть мать, проклявшая своих детей, пока не снимет проклятия.

И теперь высшей целью для майорши стало вот что: она должна вернуться в дом своей юности. Пройти по густым лесам вдоль длинной реки Эльвдалена и вернуться в дом, где она родилась, где прошли самые счастливые годы ее жизни. Пока она не вернется домой, не будет ей покоя. И нельзя сказать, чтобы все проклинали ее и осуждали, нет; многие предлагали ей и кров, и пищу, и дружбу, но она нигде не осталась. Она брела от хутора к хутору, от поселка к поселку, и горечь переполняла ее сердце, потому что проклятие матери непосильным грузом прижимало ее к земле, гнало все дальше и дальше.

Она уже решила совершить это покаянное паломничество в родные места, но сначала надо было позаботиться о любимом поместье. Она не хотела оставлять его в руках пропойц, беспутных расточителей данных им Богом дарований.

А как же иначе? Неужели от этого кому-то легче, если она вернется в свой дом и застанет запустение и разруху? Что ее ждет тогда? Смолкнувшие молоты в кузнях, разбежавшиеся слуги, изможденные, полуживые кони?

Ну нет, пока она еще в силах, пока ей верно служит разум, она выпроводит их отсюда.

Майорша прекрасно понимала, почему муж поручил управление поместьем кавалерам. Он наверняка злорадствовал, видя, как разлетается по ветру нажитое ею богатство, как рушатся ее заводы, как приходят в негодность мастерские, как разбегаются рабочие, как зарас-

тают сорняками ее угоды. Но она понимала и другое: если удастся выпроводить пригретую ею ораву бездельников и пьяниц, мужу будет просто-напросто лень искать других. Да и поискать таких: по всей стране вряд ли найдется не только дюжина, а и с полдюжины похожих на них подобных обормотов. Она была уверена: если кавалеры исчезнут, поместье перейдет в руки ее старого управляющего и инспектора, и они будут вести дела так, как заведено ею.

Именно поэтому темная тень ее уже много ночей незаметно скользила вдоль черной стены завода. Она заходила в хижины арендаторов, шепталась с мельником и его подсобниками, советовалась с кузнецами и молотобойцами.

И никто не отказался. Все были рады ей помочь. Честь завода, его слава и репутация были им дороги так же, как и ей. Нельзя было более оставлять с таким трудом налаженное дело в руках кавалеров, которые берегли нажитое, как ветер бережет золу от костра или как волк бережет овечью отару.

И в эту ночь, когда весельчаки натанцевались и напились вдоволь, напелись, наигрались и замертво попадали на свои койки, – именно в эту ночь решено было от них избавиться. Майорша долго ждала в кузнице, пока они уймутся, пока погаснет во флигеле кавалеров последняя свеча.

Имение погрузилось в сон. Настал час.

Майорша приказала заводским собраться у флигеля, а сама пошла в господский дом. Ей открыла та самая дочь пастора из Брубю, озлобленная на весь мир девчонка, из которой она воспитала замечательную служанку, настоящую камеристку – ловкую, умную, с хорошими манерами. Она встретила хозяйку со свечой в руке и поцеловала ей руку.

– Добро пожаловать, госпожа, – сказала она.

– Задуй свечу, – усмехнулась майорша. – Неужели ты думаешь, я заблужусь в собственном доме?

И она бесшумными шагами обошла весь дом, от погребов до чердака, попрощалась с каждой комнатой, с каждой каморкой.

Она разговаривала с памятью.

Служанка ни слова не произнесла, но слезы ручьем текли по ее щекам.

Майорша открыла шкафы для белья, провела рукой по тончайшим дамастовым простыням, потом подошла к секретеру, где хранилось столовое серебро, погладила изящные серебряные кувшины и чаши. Посмотрела на кипу пуховых одеял в чулане, преодолевая желание перетрогать все до единого, а то и просто броситься в мягкое, податливое облако и забыть все на свете. Инструменты, ткацкие станки, ручные прялки. Подошла к ларю с приправами и сунула руку под крышку, где, как сосиски, были нанизаны на длинный общий фитиль сальные свечи.

– Высохли, – удовлетворенно кивнула она. – Можно разрезать и отнести на место.

Потом спустилась в погреб, прошла вдоль рядов пивных бочек, потрогала в темноте пыльные горлышки винных бутылок на стеллажах.

Настала очередь буфетной и кухни.

Майорша прощалась со своим домом. Со всем, что было нажито годами упорного, изнуряющего труда.

И под конец она пошла в жилую часть.

В столовой пощупала откидную доску столешницы.

– Немало людей наелось досыта за этим столом.

В каждой комнате она останавливалась ненадолго и шла дальше. Потрогала каждый из широких диванов, положила руку на прохладную плиту мраморного подзеркального столика на позолоченных ножках. Посмотрела на зеркало в багетной раме, увитой танцующими античными богинями.

– Богатый дом, – задумчиво сказала майорша. – Вечная память человеку, одарившему меня всем этим.

В бальном зале, где недавно еще бесились танцующие пары, кресла с высокими узорными спинками уже были расставлены в строгом порядке вдоль дубовых панелей.

Майорша подошла к клавикордам и рассеянно нажала клавишу. Одинокaя надтреснутая нота отозвалась во всей анфиладе комнат странным, тоскливым эхом.

– И в мое время веселья здесь хватало...

Резко отвернулась и пошла в комнату для гостей рядом с салоном. Служанка двинулась за ней. Здесь шторы были закрыты, и они окунулись в тревожный, вибрирующий мрак.

Майорша подняла руку и притронулась к лицу девушки:

– Ты плачешь?

Служанка разразилась рыданиями:

– О, госпожа... они разорят весь дом! Почему госпожа покидает нас? Почему она позволяет этим кавалерам, чтоб им... почему госпожа позволяет им здесь хозяйничать?

Майорша потянула за шнурок. Тяжелые шторы немного разошлись в стороны.

– Разве я учила тебя кукситься? Посмотри в окно! На дворе полно народу! Завтра и запаха кавалеров в Экебю не останется!

– И вы вернетесь, госпожа? – Девушка улыбнулась сквозь слезы.

– Мое время еще не пришло... Мой дом – дорога, постель моя – клочок соломы. – Она слабо улыбнулась. – Но тебе я поручаю заботиться об Экебю. Сделай это для меня, девочка, пока я в пути.

И они пошли дальше. Ни дочка пастора, ни хозяйка не заметили, что они не одни. Именно в этой комнате, которую они только что оставили, спала Марианна Синклер.

Спала? Нет, она не спала. Она слышала каждое слово из их разговора. Слышала и все поняла.

Она лежала, не шевелясь, и слагала гимн любви.

– О, любовь, чудо из чудес! Меня бросили в ад, но ты превратила его в рай. Мои руки примерзали к железу, мои слезы застывали в жемчужины на пороге моего родного дома. Сердце мое окаменело от ненависти, когда я услышала, как бьют мою родную мать. В ледяном сугробе хотела я остудить эту ненависть, но явилась ты, о любовь. Любовь! Огнем своим ты согрела мое сердце, которое ничто не могло растопить, только ты. И что мои страдания по сравнению с этим неземным блаженством? Ничто. Я порвала все цепи, у меня нет отца, нет матери, нет дома. Люди отвернутся от меня и осудят. Наверное, ты так и задумала, великая и необъятная любовь, ты не могла допустить, чтобы я стала недостижимой для любимого! Рука об руку пойдем мы по свету. Не досталось Йосте Берлингу богатой невесты – ну и что? Нам не нужны залы, люстры и серебро, мы будем жить в лесной хижине. Я буду присматривать, не занялось ли пламя в углежогной яме, помогать налаживать силки на глухарей и зайцев, я буду готовить ему еду и штопать его одежды. Любимый мой, я буду сидеть в одиночестве на опушке и тосковать, но не по утерянному богатству, а только по тебе, только по тебе, любимый! Я буду прислушиваться, не хрустнет ли ветка под твоими ногами, не слышна ли твоя веселая песня, когда ты с топором на плече приближаешься к дому! Любимый мой, любимый, я ждала тебя всю жизнь... и буду ждать всегда, сколько бы мне ни осталось...

Так лежала она и упивалась вечными, как мир, словами любви, и как раз в эту минуту в комнату вошли майорша со служанкой.

А когда они покинули комнату, Марианна вскочила и начала одеваться. Уже второй раз за этот день пришлось ей надеть черное бархатное платье и шелковые бальные туфельки. Завернулась, как в шаль, в одеяло и опять выскочила в этот бесконечный мрак.

Тихо помаргивая звездами, распростерла над землей ледяные свои крылья морозная февральская ночь. Никогда не кончится она, эта ночь. Ее непроглядная тьма, ее лютное морозное

дыхание будут царить на земле и после того, как взойдет солнце, после того, как превратятся в воду сугробы, по которым, не чуя ног, бежала красавица Марианна.

Она бежала за помощью. Она не могла допустить, чтобы людей, спасших ее от неминуемой смерти, открывших ей сердца и двери своего дома, просто-напросто выгнали на улицу. Она решила бежать в Шё, к майору Самселиусу. Времени почти не было – дорога туда и обратно займет не меньше часа.

Майорша попрощалась со своим домом и вышла во двор, где уже собрался народ.

Битва началась.

Она выстроила людей вокруг высокого, узкого строения, где во втором этаже жили кавалеры. Отсюда и пошло знаменитое название – флигель кавалеров. Там, наверху, в большой комнате с белеными стенами, с красными сундуками и большим складным столом, на котором в луже самогона плавают тузы и валеты, там, где широкие койки в углублениях стен скрыты от глаз желтыми клетчатыми гардинами, – там они спят и видят сны. О, беспечные, наивные кавалеры!

А в конюшне с полными яслями дремлют их кони, и снятся им славные походы молодости. Что может быть лучше – уйдя на покой, вспоминать безумные проделки юности, военные кампании и ярмарки, где им, правда, приходилось ночи напролет стоять под дождем, пока хозяева пировали в трактирах. А рождественские бега после заутрени! А когда менялись лошадьми и надо было показать все, на что они способны, когда полупьяные господа с налитыми кровью глазами, выкрикивая ругательства и размахивая вожжами, погоняли своих любимцев, хотя и погонять не надо было. Сладки и прекрасны их молодые сны, и вдвойне прекрасны оттого, что никогда больше не придется им мчаться, взмыленными, из последних сил и что проснутся они в теплой стойле перед полной кормушкой. О, беспечные, наивные кони!

И свалены в старом каретном сарае отжившие свой век экипажи – изъезженные коляски и фаэтоны, разбитые сани, повозки, когда-то заботливо покрашенные желтой или красной масляной краской, зеленые телеги. Там стоит и первая в Вермланде форсистая двуколка – трофей Беренкройца в кампании 1814 года. Брички на железных и деревянных рессорах, дрожки, которые в народе называли «кофейные жаровни», одноколки, именуемые «куропатками», воспетые во времена, когда они колесили по проселкам страны. И сани, сани... длинные сани, в которые умещались все двенадцать кавалеров, и сани с кибиткой вечно мерзнувшего кузена Кристофера, и старые сани Эрнеклу с изрядно траченной молью медвежьей полостью и семейным гербом на крыле. И конечно, беговые сани, несчитаное количество беговых саней.

Много, много кавалеров жили и умерли в Экебю. Имена их забыты и ничего не скажут любознательному потомку, но майорша заботливо сохранила их экипажи, те, на которых они в первый раз приехали в Экебю, даже велела построить огромный каретный сарай.

И все эти коляски, дрожки и фаэтоны стоят здесь и медленно покрываются слоем пыли, и слой этот с каждым годом становится все толще и толще.

Гвозди уже не держатся в гниющем дереве, краска облупилась, шерстяная набивка торчит из проеденных молью дыр.

– Дайте нам отдохнуть, дайте нам спокойно развалиться! – молят старые экипажи. – Слишком долго тряслись мы по дорогам, мокли под дождями и глотали дорожную пыль. Дайте нам отдохнуть! Давным-давно мчали мы господ наших на их первый бал, давным-давно, сияющие и свежевыкрашенные, сопровождали их в любовных приключениях, давным-давно добирались с ними по весенней распутице на юг, на ипподром в Троснесе. Дайте нам отдохнуть! Почти все господа наши спят вечным сном, а оставшиеся никогда уже не покинут Экебю.

И лопается кожа на фартуках, расшатываются ободья, гниют спицы и втулки. Старые экипажи не хотят жить. Они хотят умереть, как умерли их хозяева.

Многолетняя пыль лежит на них, как саван, и они молча и лениво распадаются, как распадается плоть. Никто их не трогает, кроме неумолимого седока – времени. И то хорошо: при любом прикосновении они рассыплются в прах. Раз в год открываются ворота: приезжает новый постоялец, всерьез решивший поселиться в Экебю. Но как только слуга закрывает ворота, как только новая двуколка или фаэтон попадают в это мертвое царство, усталость и старческая немощь одолевают вновь прибывшего. Моль, крысы, жучки-древоточцы и другие служители распада дружно набрасываются на него, но ему все равно. И экипаж гниет и ржавеет в сладком полузабытии.

Так и было. До сегодняшней ночи.

До сегодняшней лютой февральской ночи.

В эту ночь, в эту лютую февральскую ночь, велит майорша отворить каретный сарай.

И в свете фонарей и факелов ищут ее слуги экипажи, принадлежащие нынешним кавалерам – обитателям Экебю. Вот двуколка Беренкройца, вот сани Эрнеклу с фамильным гербом, вот узенький возок с кибиткой кузена Кристофера.

Майорша даже не смотрит, летние или зимние экипажи выкатывают слуги из сарая, ей важно, чтобы каждому из кавалеров достался свой.

А в стойле будят старых коней, дремлющих над своими яслями.

Что ж, беспечные мечтатели, пришел ваш час: сны иногда оборачиваются явью.

Снова предстоит вам взбираться по крутым склонам и жевать подгнившее сено на постоянных дворах, снова придется отведать вам плетки, снова придется гнать по льду, такому скользкому, что и ступить на него страшно.

Они словно оживают на глазах, эти старинные экипажи! Низкорослых, выносливых норвежских лошадок, словно в насмешку, запрягают в похожий на собственное привидение, покрытый вековой пылью высоченный фаэтон, длинноногих скаковых коней – в низенькие беговые сани. Экипажи скрипят и потрескивают, а старые кони фыркают и скалятся, когда в их беззубые рты вставляют удила. Им бы дремать до скончания века, а теперь все их бессилие, дрожащие от слабости передние ноги, давно окостеневшие плюсовые суставы, которые называют скакательными, все их старческие недуги выставлены на всеобщее обозрение.

Конюхам все же удастся кое-как запрячь все эти смехотворные экипажи. Они мнут некоторое время и подходят к госпоже – спросить: а на чем же поедет Йоста Берлинг? Все знают, что он приехал в Экебю не сам, его привезла майорша на телеге, где он валялся между корзин с древесным углем.

– Запрягите Дон Жуана в лучшие беговые санки и дайте ему самую большую медвежью полость, ту, с посеребренными когтями! – Она видит недоумение конюхов и продолжает: – Запомните! Нет в моей конюшне коня, которого пожалела бы я, чтобы избавиться от этого человека.

Итак, лошади и экипажи разбужены, но кавалеры еще спят.

Теперь настала их очередь подышать морозным ночным воздухом, но они спят. Спят мертвым сном. И разбудить их – задача посложнее, чем выкатить из сарая разваливающиеся сани или вывести из стойла покорных, немощных коней. Отважные, крепкие, наводящие страх воины, закаленные в сотнях приключений, о которых слагают легенды. И они, конечно, готовы защищаться до последней капли крови. Нелегкая это задача – вытащить их из постели и усадить в запряженные рыдваны.

Майорша велит поджечь копну соломы рядом с усадьбой, чтобы огонь был виден во флигеле.

Работники смотрят на нее вопросительно.

– Солома моя, – твердо говорит она. – И все Экебю мое.

И когда яркое пламя горящей соломы освещает небосвод, она хрипло кричит:

– Будите их!

Но спят, спят пьяные кавалеры. И двери в их флигель заперты.

Толпа начинает выкрикивать страшное, хорошо знакомое всем, а особенно тем, кто занимается выплавкой чугуна, слово. Слово, способное и мертвых поднять из гроба.

– Пожар! Пожар!

Но кавалеры спят. Спят кавалеры.

Кто-то лепит большой твердый снежок и запускает в окно флигеля. Стекло разбито вдребзи, но напрасно: кавалеры спят. Спят кавалеры!

И снится им, как прекрасная девушка кидает им платочек, а звон разбитого стекла напоминает аплодисменты перед закрытым занавесом и оглушительный шум ночного пира.

Нужно выстрелить из пушки прямо над ухом или вылить на них ведра ледяной воды – тогда, может быть, они проснутся.

Они весь долгий день кланялись, танцевали, музицировали, играли на сцене и пели. Они пьяны и обессилены, и спят сном глубоким, как сама смерть. Кавалеры спят.

И этот благословенный сон едва не спасает их от унижения и позора.

Люди во дворе начинают сомневаться. А что, если они уже послали за помощью? А что, если они притаились там с пальцем на спусковом крючке, готовые уложить первого же, кто посмеет нарушить их покой?

Кавалеры хитры и отважны, и упорное их молчание что-то значит. Не просто так они молчат. Кто поверит, что они позволят застать себя врасплох, как спящий медведь в берлоге?

Люди продолжают выкрикивать «пожар, пожар!», но уже без прежнего энтузиазма, и в голосах их слышатся сомнение и страх.

И тогда майорша берет топор и в несколько ударов крошит входную дверь.

Взбегает по лестнице и рывком открывает дверь в опочивальню ее кавалеров:

– Пожар!

Этот голос им знаком, на этот голос они не могут не отозваться, они проснулись бы, даже если бы она не выкрикнула, а прошептала это слово – «пожар». И сработала засевшая в спинном мозгу привычка повиноваться этому голосу – кавалеры похватили свои одежды и посыпались вниз по лестнице, один за другим.

А там их уже ждали. Хватали поодиночке, швыряли на землю, связывали руки и ноги и тащили в предназначенные им призрачные экипажи. Никто не ушел, поймали всех. Связали Беренкройца, мрачного полковника, и могучего Кристиана Берга, и дядюшку Эберхарда, философа.

Поймали даже непобедимого Йосту Берлинга.

План майорши удался. Она оказалась сильнее, чем все кавалеры, вместе взятые.

Жалок был вид их, когда сидели они со связанными ногами в своих призрачных рыдванах. Двор гремел от их проклятий и ругательств, а взгляды, полные бессильной ярости, могли бы поджечь всю усадьбу.

А майорша переходила от экипажа к экипажу с одними и теми же словами:

– Поклянись, что никогда не вернешься в Экебю.

– Пропади пропадом, ведьма!

– Клянись, иначе прикажу оттащить тебя назад связанным, и ты там сгоришь с потрохами, потому что сегодня ночью я сожгу ваш флигель дотла!

– Не решишься!

– Не решусь? Разве Экебю не мое поместье? Ах, мерзавцы! Думаете, я не помню, как вы плевали мне вслед, когда встречали на дороге? Думаете, не было у меня искушения сжечь вас там всех вместе с проклятым флигелем? Вас, которые пальцем не шевельнули, когда меня выгнали с позором из собственного дома! Клянитесь!

Майорша страшна в своей ярости, хотя мы с вами, дорогие читатели, наверняка подозреваем, что она не так уж разгневана, как хочет показать. Но кавалеры этого не знают. К тому

же вокруг нее толпятся работники с топорами, так что лучше уж поклясться, пока не дошло до кровопролития.

Майорша велит принести из флигеля одежды кавалеров и их красные сундучки. Беднягам развязывают руки и вкладывают в них вожжи.

Все это продолжается довольно долго.

Тем временем Марианна успела добраться до Шё.

Майора она застала уже одетым. Он не любил долго спать по утрам, к тому же надо было кормить его любимых медведей.

Майор молча выслушал ее сбивчивый рассказ, пошел к медведям, надел намордники и двинулся в Экебю.

Марианна следовала за ним, едва не падая от усталости. Но когда она увидела зарево пожара над Экебю, чуть не потеряла сознание от ужаса.

Господи, что за страшная ночь? Один избивает жену, дочь его погибает от холода у крыльца родного дома. Эта страшная женщина настолько преисполнена ненависти, что готова сжечь врагов живьем. Старый майор собирается спустить чудовищ на своих же работников.

Марианна бросилась бежать, уже не замечая, насколько она замерзла и измучена, и намного опередила майора с его медведями. Прорвалась сквозь толпу работников и крикнула:

– Майор! Сюда идет майор со своими медведями!

Все замерли. Словно тревожный ветер пролетел по толпе.

– Значит, ты позвала майора? – тихо спросила майорша Марианну.

Но та ее не слушала.

– Бегите! – надрывалась Марианна. – Бегите, а то будет поздно! Ради бога! Я не знаю, что у майора на уме, но он идет сюда с медведями!

Все взгляды устремились на майоршу.

– Благодарю за помощь, дети мои, – недрогнувшим голосом обратилась она к работникам. – Расходитесь по домам! Не дай бог, если с кем-то что-то случится по моей вине или кого-то потащат в суд. Все и задумано было так, чтобы никто не пострадал. И мне вовсе не хочется, чтобы кто-то из моих верных помощников был убит или сам стал убийцей. Ступайте!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.